ГЛАВА ПЕРВАЯ

В Москве проходил экономический форум, с лоском, величаво, с выступлениями, в которых стильно и изысканно сочетались лёгкая небрежность и тяжеловесная убедительность, утверждавшая господствующий экономический курс, суливший пускай и не сиюминутное, но неизбежное процветание. На форум съехались директора крупнейших банков, главы корпораций, владельцы металлургических заводов и нефтехимических концернов. Здесь были виднейшие экономисты, авторы финансовых теорий и промышленных доктрин. Члены кабинета обнародовали долгосрочные программы. Премьер-министр в своей обычной мягкой манере предупреждал о трудностях, ссылался на международный опыт. В заключение выступил президент с напутствием бизнесу следовать не только коммерческой выгоде, но и преследовать национальные интересы. Было много кулуарных встреч, доверительных бесед, в которых сглаживались противоречия, глушились конфликты, достигались негласные договоренности.

После закрытия форума состоялся банкет. Разговоры за столами становились все веселее и оживлённее. Посмеивались над премьером, который владел искусством говорить красочно и объёмно, оставляя после своих рече-

ний ощущение удивительной пустоты. “Вакуум мысли”, — сострил один из банкиров. Отмечали прекрасную форму, которую продемонстрировал президент, что отметало всякие сомнения в том, что он снова будет баллотироваться на высокий пост. “Власть — не часы, которые нужно менять”, — тонко пошутил финансист, намекая на новые дорогие часы, замеченные на руке президента. Сплетничали о магнате, который развёлся в очередной раз, оставив жене половину своего состояния. “Я знаю, где водятся женщины, которые выглядят гораздо красивее, а стоят гораздо дешевле”, — съязвил глава авиастроительной корпорации. Сговаривались о путешествии на яхте, которая ждёт их всех в Неаполе, и к ним обещает присоединиться знаменитый Тарантино. “Не путать с капучино, дорогой. А то попросишь принести два Тарантино с пенкой”, — засмеялась одна из дам.

Иногда разговор заходил о слиянии корпораций, о процентной ставке, о предстоящем назначении на пост министра финансов. Но женщины сразу же прерывали подобные разговоры. Начинали говорить о картине Моне, которую приобрёл за несколько миллионов долларов “алюминиевый король”. О высокой церковной награде, которую вручил Патриарх многодетной жене нефтяного олигарха. О средневековом замке в долине Луары, в котором, когда его купил криминальный авторитет из Петербурга, ему стал являться дух французского короля.

Когда стало совсем шумно, и гости переходили от стола к столу, поднимали бокалы, целовали руки дамам, на подиум вышел один из устроителей форума, президент известной пиар-компании, с седовласой красивой головой, благородной осанкой, в которой чувствовалась непринуждённость и свобода человека, привыкшего к открытому общению. Постучал пальцем по микрофону, мягкими стуками привлекая к себе внимание, и произнёс:

— Господа, наш форум удался. Помимо серьёзных аналитических выступлений, помимо оригинальных идей, наш форум продемонстрировал силу и цветение молодого российского капитализма. Навсегда миновали тревожные времена, когда из каменной толщи советского уклада пробивались робкие ростки капитализма, а на них с рёвом, как стадо вепрей, неслись оголтелые красные орды, желая их затоптать, осуществить реванш плановой экономики. Всё это позади, и вчерашние красные монстры превратились в жалкие мхи и лишайники, оттеснённые на периферию российской жизни. Поздравляю, друзья!

Он поклонился, и зал откликнулся аплодисментами, звоном бокалов и несколькими экзальтированными возгласами “ура”.

— Теперь хочу представить вам художника, блистательного фантазёра и мага, который своими художественными выдумками, экстравагантными поступками создаёт у зрителей переживания, разрушающие обыденные представления, вызывающие изумление, а порой и шок. Этот вид искусства называется перформанс. Маэстро любезно принял наше приглашение и готов совершить своё действо, как всегда, оригинальное и, быть может, шокирующее. Он скажет несколько слов в адрес лидеров российской экономики, вокруг которых собираются лучшие умы, лучшие художники и писатели, самые успешные и блистательные представители нашего общества. Итак, Аркадий Веронов!

Он сделал шаг в сторону, уступая место, и на это свободное место в круг света вышел маэстро. Он был высок и статен, лет пятидесяти, но моложав, в тёмном, застёгнутом на все пуговице сюртуке, напоминающем френч. Сходства добавляла толстая серебряная цепь, как позумент, висящая на груди. У него было продолговатое матово-смуглое лицо с высоким лбом и пушистыми, вразлёт бровями. Его нос украшала небольшая династическая горбинка. Волосы были тёмно-русые, с лёгкой сединой у висков. Картину дополняли твёрдый подбородок и свежий малиновый рот, который слегка усмехался. Эта усмешка относилась к шумному многолюдью зала, мужским бокалам и женским бриллиантам, а также к самому себе, к своему полувоенному френчу, серебряной цепи, кругу света, в который он встал, как цирковой артист.

Служители вынесли на подиум столик, на котором возвышался какой-то предмет, накрытый тканью. Аркадий Веронов обвёл зал глазами, и этот

взгляд серых внимательных глаз по мере того, как они двигались вдоль столов, смирял голоса, усаживал гостей на место, заставлял дам поворачивать лица в одну сторону, словно это были подсолнухи.

— Господа, — произнёс Веронов голосом кафедрального профессора, начинающего лекцию. — Один из присутствующих здесь именитых гостей, я вижу его благородное лицо, в одной из своих статей блестяще изложил суть перемен, происшедших в России, — Веронов умолк, наблюдая, как закрутились в разные стороны головы гостей, желавших угадать, о ком упомянул маэстро. — Этот уважаемый и успешный банкир сказал, что современное российское общество делится на "победителей", "винеров", как он их назвал, и "лузеров" — "проигравших", выброшенных из истории. "Винеры" — это самые деятельные, способные, авангардные люди России, которые заняли лидирующие места в стране и ведут её к процветанию. Они получили во владения заводы, рудники, корпорации, а вместе с этим и русские реки, леса, океанские побережья. Распоряжаются они всем этим в интересах не только России, но и всего человечества. "Лузеры" — это лохмотья истории, лишённые воли, талантов. То сырье, из которого едва ли можно создать полноценный человеческий материал. Они брюзжат, ропщут, пьют водку, живут в своих зловонных подъездах, устраивают поножовщину и раз в году, в годовщину Октябрьского переворота проходят по Москве в колонне под красными флагами, развлекая своим видом иностранных туристов, — жалкое подобие бразильского карнавала.

Гости улыбались, некоторые хлопали, иные поднимали бокалы. Продолжали искать того, кому принадлежит эта теория "высшей касты", к которой они себя причисляли.

— Октябрьская революция, как чудовищная эпидемия, охватившая мир, схлынула и больше никогда не повторится. Россия, где находился самый страшный очаг эпидемии, переболела навсегда, выработала противоядие и теперь смотрит на это жуткое время без страха, а скорей с насмешливым презрением. Относится ко всем символам того кровавого времени, как к исторической бутафории. Начиная с крейсера "Аврора", где сегодня проходят забавные вечеринки, и кончая пулемётом "Максим", который смотрится теперь театральным реквизитом.

Веронов повернулся к столику, сдёрнул матерчатую накидку, и все увидели пулемёт "Максим", так хорошо знакомый всем по кинофильму "Чапаев". Серо-зелёный, на металлическом лафете с железными колёсами, с овальным щитком, с ребристым кожухом, из которого торчало короткое рыльце ствола. Пулемётная лента с латунными патронами вываливалась из его чрева. Пулемёт стоял на полированном столике, в нём была беззащитность слепца, брошенного посреди дороги, не знающего, где он, зачем его привели и оставили посреди незнакомого мира, для каких издевательств и насмешек.

Гости за столами ахали, смеялись, рукоплескали, радовались этой шалости весельчака, который выставил на посмешище это чудище, похожее на зелёную жабу, выловленную из мутного болота исчезнувшей истории.

— Это не пулемёт, это артефакт, который мы внесли в область современного искусства, напоминающий нам о былых кровавых убийствах, но теперь знаменующий собой безвозвратный уход того отвратительного и кровавого времени. Это надгробный памятник на могиле Октябрьской революции. И вы, в духе древних языческих традиций, можете принести на эту могилу свои дары. Всё, что лежит на ваших тарелках и налито в ваши бокалы. Быть может, эти деликатесы и эти марочные вина усладят на том свете неизвестного пулемётчика.

Веронов насмешливо сжал свои малиновые губы, отступил, приглашая гостей исполнить языческий обряд поминовения. От ближнего стола лёгким игривым скоком подбежала молодая женщина с бокалом шампанского. Обернулась к залу хохочущим лицом, подняла высоко бокал и стала выливать на пулемёт шампанское тонкой струей. Сияла счастливыми глазами. Зал аплодировал, смеялся. На мокром пулемёте заиграл отблеск. Вслед за женщиной к пулемёту подошёл величавый банкир, неся тарелку с сёмгой.

Цепляя вилкой красные лепестки рыбы, он клал их на ребристый кожух, на железные колёса. Солидно, с лёгкой усмешкой вернулся на место. Зал хохотал, выкрикивал слова одобрения. Мерцали вспышки айфонов. Устроитель форума директор пиар-агентства был в восторге. Веронов, отступив в сторону, благосклонно улыбался, как воспитатель, наблюдающий за играющими детьми.

Молодой менеджер, управлявший огромной торговой сетью, обмазал пулемёт красной икрой, оглядываясь на зал, чтобы убедиться, что им любуются, его затея нравится. Аналитик ведущей рейтинговой компании поднёс к пулемёту тарелку с королевскими креветками, посадил креветок на щиток, и они потешно увенчали железную кромку, как ласточки на проводах. Зал ликовал. После напряжённого делового форума его солидные участники нуждались в разрядке, в развлечении, и Веронов это развлечение им предоставил.

Дама в бриллиантах повязала пулемёту салфетку, как повязывают немощному неряшливому старику. Другая, по-видимому опустошившая не один бокал шампанского, повесила на торчащий из кожуха ствол свой перламутровый крестик и перекрестила пулемёт. И “Максим”, заляпанный объедками, с несвежей салфеткой и перламутровым крестиком, казался дурацким чучелом, не пугал, а смешил.

Веронов вновь приблизился к пулемёту, жестом останавливая череду желающим накормить и напоить загробного пулемётчика.

— Господа, мы совершили магический обряд. Мы закупорили ту бездну русской истории, из которой вырвалось в своё время чудище революции. Мы замуровали эту бездну навсегда, и больше никогда не вырвутся из неё осатанелые комиссары, больше никогда не застрекочет этот зелёный уродец, из которого кухарка Анка-пулемётчица истребляла цвет русской интеллигенции, из которого большевистские палачи расстреливали пленных офицеров в Крыму. И вам, капитанам российской экономики, лидерам российского общества, никто не помешает вести нашу Россию к процветанию!

Веронов согнулся, длинным прыжком подскочил к пулемёту, схватил рукояти и ударил огнём и грохотом, посылая в зал разящие очереди. Пулемёт дрожал, у дула трепетал язык огня, лента извивалась, погружаясь вглубь пулемёта.

Людей срезало со столов, дробилась посуда, брызгали хрустали. Люди стенали, визжали, бежали к выходу. Падали, топтали друг друга. Какой-то тучный господин давил каблуками голую спину упавшей дамы. Летели в сторону бриллиантовые броши и колье. Дергались голые ноги чьей-то вельможной жены. У выхода громоздилась гора шевелящихся тел.

Веронов в упоении водил пулемётом, вгоняя в банкетный зал огненные клинья. Кричал сквозь грохот:

— Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Заводы — рабочим! Землю — крестьянам! Да здравствует Ленин!

Он чувствовал животный ужас зала, слышал звериные визги, ликовал, видя перевёрнутые столы, ползущих людей, разорванные пиджаки и платья. Этот ужас был ему сладок, доставлял наслаждение, он впивал его, жадно глотал, расстреливая пулемётную ленту с холостыми патронами. В нём открылась тёмная воронка, бездонная скважина, в которую всасывались страх, страдание и хаос. Он хотел, чтобы их было больше, чтобы они не кончались. Чтобы эта энергия разрушения и боли уходила в ненасытную воронку, куда падал и он сам с небывалым, неутолимым наслаждением.

Он заметил, как среди обезумевшего зала, бегущих и падающих людей остался стоять высокий пожилой человек с седой головой, тонко улыбался, сиял голубыми восхищёнными глазами.

Лента кончилась. Пулемёт умолк. Веронов оттолкнул пулемёт. Видел, как из металлического рыльца вытекает голубая струйка порохового дыма и продолжает висеть и качаться перламутровый крестик.

Веронов стряхнул с рукава своего френча приставшие соринки и спокойно, медленно вышел через чёрный ход. Спустился на подземную парковку, уселся в “Бентли” и катил по ночной, переливающейся алмазами Москве,

оставляя позади стеклянные небоскрёбы. Он вернулся домой, в свою великолепную квартиру, в окнах которой сиял Новодевичий монастырь, похожий на волшебный ночной цветок. Небрежно разделся, разбросав по спинкам стульев одежду, и отправился в ванную, сверкавшую белизной. Сидел среди душистой пены, выставив из неё руку с айфоном, просматривал первые отклики на свою недавнюю выходку.

Интернет трепетал от восторгов, возмущался, торопился с прогнозами, предупреждал, грозил, хохотал, издевался, сквернословил и проклинал. Известие о случившемся волной бежало по социальным сетям, подобно кругам на воде, и центром, от которого разбегались круги, была фотография Веронова, прильнувшего к пулемёту. Размытое сияние вокруг ствола, падающие веером люди, оголённые женские ноги, раскрытые в ужасе рты. И страстное безумное лицо Веронова с прищуренным глазом, посылающего в толпу очереди.

Интернет бесшумно волновался, трепетал, переливался, как северное сияние, распространяя весть со скоростью света. Это трепетанье разлеталось среди бесчисленных мировых новостей, ошеломляющих, грозных, ужасных. Падали самолёты, взрывались дома, гибли под бомбами города, рушились банки, свергались режимы, прорицатели извещали о скором конце света, прекрасные женщины танцевали на карнавалах, голливудский актёр в очередной раз превращал свой развод с фотомоделью в мировое представление, в Антарктиде от ледника отрывался айсберг и, окутанный туманом, плыл в океане в поисках беспечного “Титаника”.

Веронов чувствовал таинственную связь зыбкой, летящей по миру волны, которая несла весть о его сегодняшней выходке, с другими мировыми событиями. Казалось, эти события были порождены холостой стрельбой пулемёта в “Москва-Сити”. Вопли ужаса, порождённые этой стрельбой, его собственная ярость и ненависть, сокрушение самодовольного величия дельцов и банкиров, возомнивших себя повелителями России, — электронная волна со скоростью света летела по миру, замыкала контакты незримых взрывателей. Обрушивались горящие кварталы Алеппо, сходил с ума снайпер, стреляющий по мирной толпе, раскупоривалась колба с бактериями, от которых умирали в муках африканские племена.

Веронов лежал в ванной, среди сверкающего кафеля и тихого журчанья воды. Выставил руку из пены, наблюдая, как с запястья к локтю медленно стекают белоснежные хлопья. Он перелистывал электронные страницы айфона, просматривая комментарии на свою “пулемётную акцию”.

“Веронов, молоток! Только зря холостыми шерстил. Пришлю тебе боевые. Борьба до последнего банкира!”

“Веронов, ты красная сволочь! Такие, как ты, из пулемёта русских профессоров и священников перестреляли, а раввинов в Кремль привели. У тебя на лбу магендовид”.

“Предлагаю ввести “черту оседлости” и поставить кругом пулемёты. За царя, за веру православную, за нашу Родину, огонь!”

“Как из города Бердичева, из-за той “черты оседлости” выбегали добры молодцы. Наши грады разлояхося, наши храмы оскверняхося!”

“Считаю, что надо как можно скорее восстановить на Руси монархию. Это и будет всенародным покаянием, а иначе Россия погибнет”.

“Попы, дворяне и царь привели Россию к погибели, отдали её масонам. А Сталин сделал Россию мировой державой. Да здравствует Сталин!”

“В том, что учинил господин Веронов, просматриваются признаки терроризма. Прокуратуре следует проверить случившееся в Москва-Сити на предмет экстремизма!”

“Господин Веронов, мы любили вас за ваши талантливые выступления по телевизору и считали вас совестью нации. Теперь же во время ваших выступлений мы будем выключать телевизор”.

“Сбросить бы на вас всех атомную бомбу. И на Веронова тоже!”

Пена стекала по руке. Переливались в пузырьках крохотные радуги. И Веронов думал, не стряхнуть ли ему пену, чтоб у того, кто хотел сбросить бомбу, взорвался сосуд головного мозга, и он упал в неизлечимом инсульте.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Аркадий Петрович Веронов проснулся в своей широкой кровати, которая никогда не была для него брачным ложем. Он некоторое время лежал, открыв грудь, глядя на потолок, где в полосе бледного солнца бежали прозрачные тени машин и что-то тихо и восхитительно розовело. Новодевичий монастырь с каменными кружевами, диковинными раковинами и золотыми главами отражался в пруду, и это зыбкое отражение с плывущими лебедями проливалось в спальню.

Веронов сбросил одеяло, голый, перед зеркалом сделал несколько упражнений, возвращая бодрость мышцам, пропуская упругую волну по всему своему сильному стройному телу. Набросил халат, принял холодный душ и перед тем, как выпить утренний кофе, прогулялся по своей великолепной квартире.

Помимо спальни она состояла из кабинета, гостиной и столовой. В кабинете ореховый письменный стол под зелёным сукном, доставшийся ему по наследству от прадеда, с каменной плитой, на которой сиял стеклянный куб чернильницы, и в гнёздах бронзовых подсвечников сохранился старинный воск. На сукне темнели пятна давнишних чернил. Здесь писал деловые бумаги прадед, отвечал на письма дед, готовила уроки мама, и он сам, не доставая ногами пола, старательно вписывал буквы в линованную тетрадь. Слышал, как дышит над его головой бабушка, умиляясь стараниям внука. Потом на этом столе, на зелёном сукне лежала мёртвая бабушка, и он сквозь слёзы видел у её головы блёклые чернильные пятна.

Гостиная была в летнем солнце. На белых стенах висели картины современных модных художников. Отрок с двумя свечами среди красных холмов. Уродливый, с каменными ногами коновал, несущий на плечах окровавленного коня. Чернобородый насупленный кавказец, пьющий пиво. Обнажённая женщина в радужной пене. Веронов ласкающим взглядом осмотрел картины, вспоминая лица художников, вернисажи, выставки, бражное веселье богемы.

На диване лежали иранские, шитые шелками подушки. На длинной полке стояли кальяны. Их разноцветные флаконы и тонкие шеи напоминали стеклянных птиц, в каждой мерцало зелёное, красное, золотистое солнце. Вся стеклянная стая была готова взлететь.

Веронов подошёл к окну и с обожанием смотрел на монастырь, на его изысканные женственные главы, бело-розовую колокольню, солнечную поверхность пруда, по которому плыли лебеди, оставляя длинные следы стеклореза. И, откликаясь на его обожание, в монастыре зазвонили, и рокочущий колокольный звук наполнил гостиную.

Пришла работница Анна Васильевна, чтобы напоить его кофе и убрать квартиру. Стареющая, со следами увядшей красоты вдова генерала, которую Веронов называл помощницей, уважая её вдовство, ценя её деликатность и уменье готовить.

Анна Васильевна принесла из почтового ящика утренние газеты, и Веронов, в халате, пил кофе с гренками и просматривал их. И в каждой — в “Коммерсанте”, в “РБК-дейли”, в “Ведомостях” — были сообщения о его вчерашней “пулемётной выходке” и приводилась одна и та же фотография, снятая на айфон кем-то из ошеломлённых гостей. Стреляющий пулемёт с маленьким факелом у ствола, и Веронов с диким лицом, сжимая рукояти, ведёт пулемётом по залу.

“Коммерсант” писал: “Учинённое нашим прославленным художником господином Вероновым действо в банкетном зале “Москва-Сити” вполне сравнимо с террористическим актом и может послужить поводом для прокурорского расследования. Террористическому нападению с помощью эстетических средств был подвергнут цвет российской финансовой, промышленной и политической элиты. Результаты этого нападения несомненно скажутся на финансовом рынке, на поведении акций, приведут к непредсказуемым всплескам во внутренней и внешней политике”.

Газета “РБК-дейли” отмечала: “Пулемёт, из которого Аркадий Веронов обстрелял холостыми патронами представителей российской элиты, дал по-

нять, что пропасть, разделяющая миллиардеров и нищий народ, легко преодолима с помощью справедливого распределения боевых патронов между пулемётчиками из числа народных мстителей".

"Ведомости" писали: "Напрасно полагают, что искусство отступило на дальнюю периферию общественной жизни. Мы получили свидетельство того, как новейшая эстетика вторгается в самые закрытые сферы и производит там разрушительное действие. Искусство мстит за годы своего отлучения и берёт реванш, оповещая о себе не стихотворными строчками, а пулемётными очередями".

Веронов пил кофе, перелистывая газеты, довольный результатом вчерашнего перформанса, эхо которого продолжало лететь по миру.

Работница Анна Васильевна, деликатно отойдя от стола, не мешала Веронову просматривать газеты. Но когда он отложил газеты в сторону, приблизилась и спросила:

— Вы меня извините, Аркадий Петрович, но я давно собиралась вас спросить. В чём состоит ваше искусство? Я знаю, есть художники, которые рисуют картины. Есть поэты, которые пишут стихи. Музыканты, которые сочиняют музыку. А у вас в руках нет ни кисти, ни смычка. Вы как бы фокусник, правильно я понимаю?

Веронов улыбался, разглядывая её полное лицо с утончённым носом и красивыми губами, над которыми начинала собираться гармошка морщин:

— Видите ли, дорогая Анна Васильевна, творческий акт вызывает у зрителя прилив эмоций. И для этого вовсе не обязательно писать картину или водить смычком. Например, — он схватил чашку с недопитым кофе и плеснул на белую, с шёлковым шитьём скатерть. Анна Васильевна вскрикнула, отшатнулась от чёрного, измаравшего скатерть пятна. Веронов смеялся, глядя на её испуганное, помолодевшее от испуга лицо. На этом лице на мгновенье вспыхнула увядшая красота и женственность.

— Вот видите, Анна Васильевна. Моё искусство подействовало на вас сильнее любой картины.

После кофе он удалился в гостиную, улёгся на диван среди персидских подушек и принимал утренние звонки, которые нарастали волной по мере того, как оживал интернет, являлись на работу жадные до новостей журналисты.

Всех интересовало вчерашнее происшествие в "Москва-Сити". Требовали подробностей, искали символические смыслы, просили уведомить о следующих акциях. Веронов сначала отвечал увлечённо, шутил, дурачился, пугал. Потом ему наскучили однообразные вопросы. Он выключил звук телефона и только поглядывал на мерцанье экрана и вспыхивающие номера. Один из номеров показался ему необычным. В нём подряд следовали четыре "семёрки". Такой телефонный номер мог принадлежать исключительной персоне, и Веронов взял трубку.

— Господин Веронов? Меня зовут Янгес Илья Фернандович. Я директор английского инвестиционного банка, работающего в России. Вчера я был участником банкета, который был расстрелян вами из пулемёта "Максим". Хотел вам сказать, что это было великолепно.

Голос говорившего был властный, рокочущий, с легчайшей иронией, которую мог позволить себе сильный, влиятельный, сведущий человек, не принимавший всерьёз поступки людей, ибо знал истинную природу их побуждений.

— Я бы хотел увидеться с вами и познакомиться.

Веронов вспомнил, как среди бегущей, падающей и стенающей толпы оставался стоять высокий седовласый господин с тонкой усмешкой и восторженными голубыми глазами. Он с восхищением следил за обезумевшим залом, и Веронов хлестнул по нему очередью, а тот в ответ поклонился.

— Если вам позволяет время, приглашаю вас к себе.

— Где вы находитесь? — Веронов уловил легчайший трепет, словно колыхнулось пространство, и время едва заметно изменило свой бег.

— Новинский бульвар. Бизнес-центр. Компания "Лемур". Пропуск уже заказан.

В бизнес-центре бесшумно скользили лифты. На медных досках значились имена компаний и корпораций. Лощёные клерки с одинаковыми лицами и причёсками, в белых рубахах и тёмных пиджаках мелькали на мгновенье и исчезали среди блеска, словно проходили сквозь стены. Молодые женщины, похожие одна на другую, — стройные ноги, короткие юбки, высокие каблуки, — несли куда-то лёгкие папочки или выглядывали из-за стоек в приёмных, окружённые компьютерами и телефонами. Всё пространство тихо шелестело, нежно позванивало, переливалось.

Веронов отыскал медную доску с гравированной надписью “Лемур” и ушастым пучеглазым зверьком, растопырившим когти. Секретарша за стойкой очаровательно улыбнулась сиреневыми губами:

— Аркадий Петрович, вас ждут.

Кабинет, куда он ступил, был огромный, весь белый, сияющий, с просторным окном, за которым мягко рокотало Садовое кольцо. Посреди кабинета стоял загорелый немолодой человек с белыми, отливавшими синевой волосами.

— Янгес Илья Фернандович. Когда вы полоснули по мне пулемётом, в ленте среди холостых оказался один боевой патрон. Он просвистел у моего виска и пробил стекло. Вот, посмотрите. — Янгес протянул Веронову снимок, на котором виднелось пулевое отверстие в оконном стекле с паутинками трещин, за которыми туманилась огненная панорама Москвы. — Не волнуйтесь, к вам не будет претензий. Я оплатил ущерб.

— Как среди холостых патронов мог оказаться один боевой?

— Не исключаю, что это была не пуля, а ваша неистовая воля, способная на расстоянии сбивать самолёты. — Янгес рассмеялся и за руку дружелюбно подвёл Веронова к дивану и усадил. Очаровательная секретарша уже разливала в узорные чашечки душистый чай, ставила вазочки с восточными сластями.

— Попробуйте чай. Он заварен на травах, которые я сам собирал в Тибете.

— Вы изучали с монахами тибетские практики?

— Они, как и вы, взглядом сбивают птиц.

Веронов делал маленькие глотки, чувствуя душистую горечь, которую сообщали чаю жёлтые цветочки, что растут у подножья каменных Будд. Ждал, когда хозяин кабинета объяснит смысл их встречи.

— Я слежу за вашим творчеством, Аркадий Петрович, по публикациям в художественных журналах, читаю статьи арткритиков. На некоторых ваших выступлениях присутствовал лично, как, например, вчера. Перформансы, которые вы устраиваете, имеют далеко идущие последствия. Выходят далеко за пределы студий и галерей, где они совершаются.

— Что вы имеете в виду? — Веронов рассматривал собеседника, стараясь понять, что этот господин с характерным лицом банкира находит в его эстетских, часто скандальных представлениях, столь далёких от банковских счетов и валютных бирж.

— В Норильске я был по делам службы и присутствовал в Доме культуры на вашем представлении. На улице был чудовищный мороз, звёзды — как раскалённая сталь. Кругом тундра, тьма. В зале простуженные, угрюмые лица. И вдруг вы совершаете чудо. Занавес падает, и на сцене живая, ярко зелёная, благоухающая трава, и на этой траве стоит прелестная обнажённая женщина с распущенными волосами. Какое было потрясение в зале!

— Действительно, было много оваций.

— Но я провёл исследование, и после вашего действа в городе резко упало число психических расстройств и на десять процентов увеличилась рождаемость.

— В самом деле? Так далеко мои арткритики не заглядывали.

— Но вот другое ваше представление, в Петербурге. Тогда на длинную доску вы положили огромного живого осетра. Рыбина сначала билась, танцевала на голове. Всё тише, тише. Замирала, ей не хватало воздуха. Она шлёпала красными жабрами, вздрагивала плавниками. Было видно, как она мучается. Как меняется цвет её тела, от бело-серебристого до тускло-фиоле-

тового. Люди неотрывно смотрели, и казалось, они сами умирают вместе с рыбиной. И когда она умерла, все разошлись, обессиленные.

— Да, быть может, это было жестоко по отношению к рыбе, но публика была околдована и лишилась сил. В этом был эстетический эффект перформанса.

— Но через неделю начались знаменитые лесные пожары, когда горела вся Россия, сгорали села, огонь врывался в города, от дыма тускнело солнце, и множество людей умерло от удушья. Это природа мстила за убийство рыбы. Вы казнили Царь-рыбу, и природа решила сжечь себя и всех нас. Это вы подожгли леса.

— Вы серьёзно так думаете?

— Я убеждён. Вы своими художественными действиями умеете извлекать бурю эмоций и подчиняете эти эмоции целенаправленной воле. Эта воля двигает эмоции в окружающий мир, и там рождаются непредсказуемые последствия. Ваш перформанс не кончается студией или залом, а имеет продолжение в окружающем мире. Ваш перформанс есть детонатор невидимых взрывов.

— Вы хотите сказать, что вчерашняя злая шутка с “Максимом” имела другие последствия, кроме разбитых бокалов, толкотни и женских задранных ног?

— Сегодня ночью взорвалось газохранилище в Липецкой области. Взрывом уничтожена промзона площадью в десять гектар, погибло шестнадцать человек и нарушено железнодорожное сообщение. Газохранилище принадлежало одному из участников банкета.

Янгес взял пульт, включил телевизор, и Веронов увидел мутный дым, огромные всполохи, развороченные конструкции, пожарных, бегущих в огне, и машины “скорой помощи”, в которые заталкивают носилки, покрытые брезентом.

— Это всё сделал я?

Веронову вдруг захотелось подняться и, не прощаясь, уйти. Но он остался сидеть, остановленный лемурьими цветными глазами, заворожённый колдовским бархатным голосом.

— Я уверен, — продолжал Янгес, чуть усмехнувшись, словно угадал происходящую в душе Веронова борьбу и торжествовал свою победу. — Уверен, что взрыв в Чернобыле случился после того, как кто-то на потеху зрителям заколол невинного бычка. Ужас бычка, сладострастное возбуждение зрителей, направляемые беспощадной волей мясника, который был по-своему художником, этот волевой импульс достиг реактора и взорвал его. Это был диверсионный акт абсолютно нового типа. Диверсия, совершённая художником.

Веронову показалось, что его лизнул ледяной сквознячок. В кабинете было тепло. За окнами сияло солнце. Но сквознячок коснулся его, словно где-то приоткрылся погреб, пахнуло ледяной промозглой сыростью.

Веронов оглядел кабинет. Пол был гладкий и чистый, не предполагал подполья. И Веронов вдруг понял, что сквознячок сочится в нём самом, из невидимой щели, которая ведёт в бездонное, находящееся под сердцем подполье.

— Скажу вам больше, Аркадий Петрович. Советский Союз был разрушен художниками. Без пуль, без вторжений, без военных переворотов. В Советский Союз, по тайной договоренности вашего и американского президентов во время их встречи в Рейкьявике, приехало несколько выдающихся мастеров перформанса. И они в течение четырёх лет перестройки совершали свои акции, нанося глубинные травмы общественному сознанию, в котором с каждой акцией умирали представления о величии государства. О несокрушимости армии. О всеведении спецслужб. О мощи промышленности. О героической истории. О доблестных героях. О гениальных писателях и музыкантах. Каждый перформанс наносил удар по одному из столпов государства. И когда последний столп рухнул, когда состоялся заключительный грандиозный перформанс — введение танков в Москву, убийство трёх демонстрантов, сокрушение памятников, — когда это грандиозное зрелище совершилось, пало государство. Недаром в Священном Писании сказано: “Дело рук художника ненавижу”.

Веронов желал понять, не смеются ли над ним, не является ли сидящий перед ним человек фантазёром, которые водятся в артистической среде и своими фантазиями расцвечивают и украшают общение. Но Янгес, хотя и улыбался, но улыбка его была жестокой и хищной.

— Почему вы меня пригласили? — спросил Веронов. — Я не взрывал Чернобыль.

— Я хочу предложить вам проект. Художественный, но и не только. Мы испытаем с вами новое оружие. Вы оружейник, вы и оружие.

— Я просто художник, мастер перформанса, искусства, которое интересует очень узкую прослойку и абсолютно не интересует власть. Власть сослала художников в самые тёмные глухие углы общества и забыла о них. Мы все — отшельники культуры.

— Это и важно. Вы отомстите власти за унижения, за несправедливую опалу и ссылку. Вас не видят, вы вдалеке от Кремля, генерального штаба, президента. Вы в чулане. Но из своего чулана, из потаённого убежища вы наносите удары сокрушительной силы. И от ваших ударов загораются леса, взрываются газохранилища, шатается свод Государства Российского. Вас нельзя обнаружить, вы неуязвимы. Но после ваших камерных представлений падают самолёты и происходят массовые беспорядки. Давайте встряхнём Россию?

— Вы так не любите Россию?

Янгес встал и, глядя в дальний угол кабинета, перекрестился. Веронов увидел среди белизны мерцающий маленький образ в цветных переливах, как и глаза Янгеса.

— Я люблю Россию больше, чем кто-либо. Россия — душа мира. Дом Богородицы. Россия соединяет небо и землю. Из России колодцы уходят прямо в небо, в Царствие небесное, и всё человечество пьёт воду из чаши, которую подносит народам Россия. Мир смотрит на Россию и ждёт, когда она произнесёт своё сокровенное Слово Жизни, которое спасёт род людской. Все волшебные русские сказки, все великие философы и писатели, все революционеры и космисты слышали это небесное Слово и стремились обратиться с ним к людям. И все русские муки, все дыбы и плахи, все небывалые мучения побуждает сегодня Россию произнести это желанное Слово.

Янгес говорил вдохновенно, с глубоким волнением и верой. Глаза его увлажнились, и казалось, вот-вот из них потекут разноцветные слёзы.

— Но это Слово не может пробиться сквозь хаос и шум, которые сегодня наполняют русскую жизнь. Мы хотим услышать великую русскую симфонию, а слышим визги, скрежеты, отвратительные крысиные писки и собачьи хрипы. Там “красные”, там “белые”. Там монархисты, там революционеры. Те за Ленина, те за Сталина. А те за Колчака и Деникина. Мусульмане стекаются в свои мечети и мечтают об ИГИЛ. Евреи в синагогах мечтают о Второй Хазарии. Русские в церквах молятся о государе императоре. Шаманы выходят на капища и выкликают Большую белую сущность. Патриоты, либералы. Никониане, язычники. Всё это смешивается, дерётся, готово схватиться в смертельной войне. Надо встряхнуть Россию. Чтобы весь этот сор опал. Чтобы ржавчина осыпалась. Чтобы грубая мазня исчезла, и под ней открылся подлинный дивный лик. И Россия, наконец, произнесла своё вещее Слово Жизни.

Веронову казалось, что он стоит на прозрачном тончайшем льду в отблесках солнца, а под хрупким стеклом чернеет бездонная глубина, куда он провалится. И от этого было сладко и было ужасно, и этот ужас был упоителен, и эта тёмная бездна таилась в глубине его собственной души, и хотелось упасть в неё и лететь в этой кромешной упоительной тьме, из которой он когда-то вышел на свет, был поставлен на хрупкий прозрачный лёд, готовый распасться.

— В чём ваш проект? — слабым голосом спросил Веронов.

Тот мгновенно остыл. Голос утратил слёзную дрожь. Глаза высохли и переливались холодным блеском.

— Я открываю вам счёт в банке, не ограниченный. Даю вам задания, присылаю по электронной почте наименование объектов, которые вам надлежит взорвать. Конечно, фигурально, никакого терроризма. Хотя, если

угодно, речь идёт об испытании нового оружия. Это оружие — вы, Аркадий Петрович. Сокрушая очередную моральную твердыню, вы вызываете вихрь, который производит невероятные разрушения на огромном от вас удалении. Эти разрушения копятся, ваши эмоциональные удары учащаются и в итоге приводят к желаемой встряске. Россия вздрагивает. Ржавчина опадает, окалина осыпается. И Русская Мечта начинает сверкать в своей волшебной красоте. Вы меня поняли, Аркадий Петрович?

Веронов вдруг испытал удивительную лёгкость, освобождение, счастливое веселье. Он кудесник, обладатель волшебных искусств. Он будет разрушать запретные табу, срывать пломбы с запечатанных сундуков, где заперты стихии. И эти стихии по его повелению вырвутся на волю и своей свежестью, нерастраченной силой омолодят ветхий мир, очистят Россию от скверны.

— А что, если я, разрушая все заповеди, все запреты, отрицая все нормы и правила приличия, схвачу вас за нос? — спросил Веронов.

— Можете это сделать, Аркадий Петрович. Но вы этим ничего не добьётесь, как если бы вы схватили за нос себя самого. Мы с вами одно и то же.

Они посмотрели один на другого и рассмеялись. Веронов, прощаясь с хозяином белоснежного кабинета, вновь почувствовал ледяной сквознячок, который лизнул ему сердце.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Янгес не замедлил о себе напомнить уже в тот же вечер. Раздался телефонный звонок, и вежливый, слегка грассирующий голос произнёс:

— Аркадий Петрович? Ваш телефон мне дал Илья Фернандович. Он сказал, что я могу к вам обратиться.

Это лёгкое грассирование и доставшаяся от прежних еврейских поколений печальная интонация позволили Веронову тут же создать портрет собеседника. Голый бледный череп с зачёсами седых волос на висках. Заострённый, книзу опущенный нос с голубой жилкой. Большие влажные, чуть навыкате грустные глаза с серыми мешочками.

— Я слушаю вас.

— Меня зовут Исаак Моисеевич. Я исполнительный секретарь общества “Мемориал”. Илья Фернандович сказал, что я могу к вам обратиться. А для нас Илья Фернандович является большим авторитетом.

— В чём ваша просьба?

— Илья Фернандович сообщил, что в вашем роду есть репрессированные родственники. Он сообщил, что ваш прадедушка был расстрелян по делу “Промпартии”. Что две ваши двоюродные бабушки были сосланы в ГУЛаг, в Красноярский край, а потом отбывали ссылку на Урале. Что ещё один ваш дедушка отбывал срок в Каргополе. Так ли я говорю?

Веронов был уязвлен осведомленностью неизвестного человека, который вторгся в сокровенное прошлое его рода и бесцеремонно ворошил это прошлое.

— Откуда у вас такие сведения? Ведь, согласитесь, не каждому по нраву, когда кто-то с неясной целью теребит ваши родовые предания.

— Вы не должны гневаться, Аркадий Петрович. Судьбы ваших репрессированных родственников складываются с миллионами других репрессированных и не являются только вашим родовым прошлым. А являются нашим общим прошлым, прошлым нашей страны. У нас в “Мемориале” есть картотека, где значатся имена и судьбы всех невинно пострадавших от сталинского произвола.

— Допустим. Но зачем я вам понадобился?

— Видите ли, Аркадий Петрович, мы завтра проводим расширенное собрание, на котором хотим выступить с некоторыми инициативами, направленными на оздоровление нашего общества, в котором некоторые силы возвеличивают Сталина и оправдывают совершенные им злодеяния. Это прокладывает дорогу для новых возможных репрессий. Мы хотим предупредить общество об этой опасности.

— Но при чём здесь я?

— Илья Фернандович сообщил нам, что вы замечательный оратор и известный человек. Мы приглашаем вас выступить на нашем собрании, которое состоится завтра в Библиотеке Иностранной литературы.

Веронов раздумывал, стоит ли ему продолжать разговор. Но вдруг понял, что Янгес, этот загадочный маг, с которым он вступил в опасный и увлекательный сговор, даёт ему повод совершить перформанс. Силой искусства извлечь из омертвелой материи импульс энергии, способной расшатать окостенелую жизнь.

— Что ж, я согласен. Мне есть что сказать.

Его предки, деды и прадеды, расстрелянные, погибшие на этапах, измученные в лагерях, вызывали в нём не страдание, а недоумение, как необъяснённая причина. За что? Почему? В какой связи с его собственной жизнью? Он отодвигал их в туманное прошлое, в фамильные альбомы с их лицами, с их вопрошающими глазами, перед которыми робел и от которых отворачивался. Вокруг ревели страсти, истошные сталинисты воспевали своего кумира, поборники либеральных свобод ненавидели палача с бриллиантовой Звездой Победы.

Всё кругом мучилось, корчилось, не умело отрешиться от прошлого, не хотело заглянуть в будущее. Зрел пузырь, один из многих, который Веронов хотел проткнуть. И он стал готовиться к перформансу, стал искать иглу, которой проткнёт пузырь.

Утром, отправляясь в собрание “Мемориала”, он катил на своём респектабельном “Бентли” по набережной, в струящемся блеске. Наслаждался зрелищем близкой реки, белыми речными трамвайчиками, зелёной кущей Нескучного сада, серебристой арфой Крымского моста. На заднем сиденье, обёрнутый в холст, таился сюрприз, с которым он выйдет к собранию. И никто, ни одна душа, не должны угадать, что скрывается под свежей холщовой тканью.

Впереди нежно и восхитительно заалел Кремль, породив сладостное головокружение, которое он испытывал с самого детства, когда Кремль румянился в синем морозном воздухе или таинственно плыл в осеннем дожде, или в праздничном пасхальном ликовании парил над рекой с белоснежными дворами и храмами, с лучистым золотом своих куполов. Веронов смотрел на Кремль, словно вдыхал аромат таинственного цветка, которым одарила его Москва. Но поведя глазами в сторону, испытал внезапную тяжесть, словно сумрачная туча заслонила недавнюю солнечность. Этой тучей был Дом на набережной, огромные, пепельно-серые сдвинутые кубы, вызывавшие тайную тоску, мутную тревогу, какая охватывает при виде крематория. Дом был задуман как символ мрачного беспощадного господства победивших революционеров над проигравшей монархией. Нависал над Кремлём, ложился на него могильной плитой, топтал его кресты, дворцы и соборы. В него заселилось первое поколение победивших комиссаров, из окон своих квартир наблюдавших поверженную Россию.

Их торжество продолжалось недолго. Сюда один за другим подкатывали ночные “воронки”, и недавних властителей поднимали из тёплых постелей и везли на Лубянку, где им ломали кости и расстреливали в глухих подвалах. Их детей и жён высылали в далёкую Сибирь, а их квартиры заселяли офицеры НКВД. Развешивали на стенах портреты вождя, любовались рубиновыми кремлёвскими звёздами, сознавая себя гвардией Сталина, “орденом меченосцев”, чей меч продолжал свистеть, выкашивая ряды истинных или мнимых заговорщиков. Когда рухнула империя НКВД, и главные опричники Сталина были расстреляны или сосланы, в пустые квартиры вселились партийные руководители, их сытые простоволосые жены, новая знать, уставшая от бремени сталинских новостроек и расстрелов. Теперь Кремль был их, как кремовый торт, которым они лакомились, выковыривая и обсасывая золотые ягодки куполов. И так продолжалось все тучные годы, когда медленно, липко сползал оползень прокисшего государства, и в роковую ночь из Москвы улетели все красные духи, оставив столицу на истребление загадочным нетопырям и остроклювым грифам, которые долгие годы таились в глухих

проёмах кремлёвских колоколен и звонниц. Дом на набережной заселили разбитные торговцы, ловкие спекулянты, устраивая свои пиры с видом на Кремль, учиняя оргии под визгливую восточную музыку, с танцами на столах голых красавиц. И Кремль молчаливо наблюдал, как светятся окна в чудовищном доме, и из окон выпадает очередная красавица. Эти временные обитатели Дома, заселившие его не по чину, постепенно убрали загаженные квартиры, отремонтировали их с невиданной роскошью, заставили антикварной мебелью, развесили хрустальные люстры, и в них вселились главы концернов, иерархи церкви, банкиры и звёзды эстрады. В квартире, где когда-то жил комиссар в пенсне с еврейской бородкой, отдававший приказ о расстреле священников, теперь поселился епископ, молящийся по утрам на кремлёвские кресты, мечтающий срезать с кремлёвских башен рубиновые сатанинские звёзды.

Веронов проезжал Дом на набережной, похожий на огромный кусок антрацита, и гадал, кто следующий поселится в Доме в очередную годину русской беды.

Он доехал до высотного здания, свернул на Яузу и оказался возле библиотеки. Оставил машину на парковке. Дал пятитысячную купюру двум служителям, чтобы те перенесли его сюрприз в здание библиотеки, но так, чтобы ни одна душа не заглянула под холст. У входа его встретил Исаак Моисеевич, чью внешность с поразительной точностью угадал Веронов. Лысый желтоватый череп. Два пышных седых зачёса на висках. Деловитый опущенный нос с голубой жилкой. Печальные глаза, в которых, казалось, дрожала вековечная слеза.

— Вам будет предоставлено слово, Аркадий Петрович. У всех у нас разбитые сердца, и я вижу, что и у вас оно разбито. Проходите в зал заседаний.

Здесь было людно, шумно. Люди перемещались, взмахивали руками, громко говорили. Напоминали стаю грачей, оправляли перья, чистили клювы, готовые сняться и полететь дальше, исчезая тёмными метинами на вечерней заре. Среди них было мало молодых. Мужчины и женщины были скромно, даже бедно одеты. По виду мелкие служащие, учителя, библиотекари, общественные деятели средней руки. Среди них Веронов заметил известную правозащитницу, до того ветхую, что она сидела, опираясь на палку, в нелепом чепце, с неопрятными волосами. Нелепо выделялся полный казак, затянутый в синий мундир с эполетами и георгиевскими крестами. Виднелись телекамеры. Наконец, все расселись и понемногу утихли. Исаак Моисеевич занял место в президиуме, постукивая пальцем по стакану, призывал к тишине.

— Объявляю наше внеочередное собрание “Мемориала” открытым. Очень тревожно на сердце, когда видишь, как вновь поднимают из могилы Сталина. Ставят ему памятники, прославляют по радио и телевидению. Забыли, какой он кровавый изверг, и нас готовят ко второму пришествию Сталина. Мы, общество “Мемориал”, должны обратиться к народу, к власти, к президенту с предупреждением о грозящей опасности. С призывом провести десталинизацию, как она проводилась в годы Хрущёва и Горбачёва, и вырвать корень сталинизма из нашей русской почвы.

Исаак Моисеевич обвёл зал тревожными глазами, желая убедиться, что призыв его услышан. Из зала раздалось несколько возгласов:

— Президент сам из КГБ, он сталинист!

— Надо не просить, а требовать! Именем всех расстрелянных!

— Любо! — ухнул, как филин, казак и умолк, втянул голову в плечи.

Веронов чувствовал возбуждение зала, нетерпеливые волны возмущения, страдания, закипающей ярости. Пузырь взбухал. Сюрприз, который Веронов приготовил для зала, стоял у стены, укрытый холстом.

Исаак Моисеевич высматривал в зале наиболее активных, указывал пальцем:

— Вы хотели сказать, Софья Львовна! Вы поднимали руку!

Из зала на сцену пошла невысокая, хрупкая женщина в поношенной кофте, с седой головой. Её движения были порывисты, словно она вырывалась из чьих-то цепких объятий. У неё был большой розовый зоб, перевитый

синей веной. Когда она стала говорить, зоб начал краснеть, наливаться, и жила пульсировала, готовая лопнуть.

— Вы знаете, мой дедушка Франц Генрихович Беркович был адъютантом у Уборевича. Он воевал за эту власть в Бессарабии, в Туркестане с басмачами. Он был награждён орденами, красный командир. Его арестовали по делу Уборевича. Его голого ставили в яму с ледяной водой, чтобы он дал показания на Уборевича. У него ноги стали синие, и в них завелись черви. Его расстреляли по личному приказу Сталина. Я узнала имя следователя, который выбивал показания. Мартынов Фёдор Иванович. Так пусть же дети и внуки этого Мартынова поедут к той яме и упадут на колени, станут вымаливать прощение. Я бы хотела заглянуть в их глаза, чтобы в этих глазах шевелились черви, которые завелись в ногах моего деда. Пусть на каждом доме, где жил палач, висит знак: “Здесь жил сталинский изверг. Люди, плюньте на порог этого дома!”

Её зоб казался огромным красным корнеплодом, выросшем на шее. Голос клокотал, обрывался, и она была готова упасть со сцены. Её подхватили и усадили на место. Раздавались возгласы;

— Всех палачей-сталинистов заочно судить!

— Бирку на дом: “Здесь жил палач”!

— Вырыть их из могил вместе со Сталиным!

— Любо! — ухнул казак и замер, втянул голову в тучные, с эполетами, плечи.

— Вот вы, вы, Николай Нестерович! Вы хотели сказать! — Исаак Моисеевич указал пальцем в зал.

На сцену пошёл худой старичок в клетчатом пиджаке с кожаными подлокотниками, какие бывают у бухгалтеров. Он шёл и оглядывался, словно его кто-то окликал. У него был седой хохолок и белые губы.

— Вы знаете, я художник и скульптор. Внучатый племянник Андрея Андреевича Филимонова, который рисовал декорации к спектаклям Мейерхольда. Вместе с ним был арестован, сослан на лесоповал. Там на людей наваливали огромные стволы и заставляли тащить на себе из леса к железной дороге. Мой дедушка надорвался и умер прямо в лесу. Я создаю памятник жертвам сталинизма, чтобы такие памятники стояли во всех городах, напоминали о невинных жертвах. Один мой памятник изображает изнурённого зэка на подгибающихся ногах, а на нём огромное тупое бревно, которое его давит. Другая скульптура изображает Сталина, лежащего на земле, как поверженный дракон, в чешуе и с хвостом, и ангел всаживает в него отточенный осиновый кол. Я бы хотел, чтобы убрали скульптуру Рабочего и Колхозницы, символ торжествующего сталинизма. И на этом месте поставили мой памятник. Прошу вас, поддержите мои проекты. Пусть Министерство культуры даст денег!

Его поддерживали:

— Предлагаю всем подняться, пойди к кремлёвской стене и всадить кол в могилу Сталина, чтобы тот никогда не поднялся!

— Прямо сейчас начнём собирать деньги!

Старичок, взволнованный, возвращался на место. Его хохолок победно трепетал. Губы порозовели.

Веронов слушал выступления, в которых тоскливые воспоминания мешались с гневными всплесками, с требованием возмездия, с тоскливыми, как плачи, упованиями. За каждым выступающим стояли убиенные, замученные, сгинувшие бесследно в сибирской тайге, в тундре Салехарда, в горючих песках Караганды, во льдах Магадана. Они наполняли зал бестелесными телами, пустыми глазницами, открытыми беззубыми ртами. Их становилось всё больше. Их не пускали стены. Веронов чувствовал лицом хлопки ветра, который поднимали их пролетавшие души. Все, кто выступал, казались ущербными, с отклонениями, смещёнными осями симметрии, словно им передавались через поколения переломы, травмы и помешательства тех, кого вели на расстрел, кидали во рвы их недобитые трепещущие тела.

— Мы должны поддержать инициативу “Бессмертный барак”, — говорил огромного роста человек в чёрном потёртом пиджаке и неправильно за-

стегнутой рубахе. На его бледном лице синели подглазья, ноздри орлиного носа были полны волос, голос был каркающий, кашляющий, словно в горле застряла кость. — Достанем из альбомов фотографии наших репрессированных родственников и понесём в многомиллионной колонне. По всем городам, по всем деревням! По Красной площади, мимо могилы душегуба, чтобы она зашевелилась, и земля выдавила из себя проклятые кости.

— И пусть президент возглавит колонну! Мы узнаем, с кем он, с народом или с палачами!

— День плача! Как холокост!

— Нет сталинизму!

— Любо! Любо! — ухал казак, сжимая в воздухе огромные кулаки.

— Дорогие товарищи, — успокаивал зал Исаак Моисеевич. — Я хочу предоставить слово нашему новому члену, которого порекомендовал наш замечательный спонсор Илья Фернандович Янгес. Это известный художник и общественный деятель Аркадий Петрович Веронов. Он будет продвигать идеи "Мемориала" своим искусством. Пожалуйста, Аркадий Петрович! — Исаак Моисеевич постучал ногтем о стакан, призывая к тишине.

Веронов подхватил свой свёрток, вышел на сцену и установил сюрприз на столе, бережно поправил холст. Стоял бледный, статный, в чёрном сюртуке, застёгнутом на все пуговицы, похожий на факира:

— Дорогие братья, да, да, братья! Потому что все мы входим в скорбное братство, скреплённое слезами мучеников, кровью невинно убиенных. Наш с вами священный долг — сберегать эту горькую родовую память, не давать ей увянуть, не позволить жестоким и бессердечным людям предать эту память забвению. Моя двоюродная прабабушка была историком, раскапывала Помпеи и кончила свои дни в лагере под Красноярском, где умерла от цинги. Мой двоюродный прадед был прекрасным инженером, и его арестовали, лили ему на голову нечистоты, и он умер от разрыва сердца. Половина моего рода бежала за границу от большевицкой тирании, а другая осталась здесь и погибла в тюрьмах и лагерях.

Зал слушал его с сочувствием, раздавались вздохи, стоны сострадания. Веронов чувствовал, как утончается плёнка между ним и залом, и по ту сторону невидимой плёнки взбухает пузырь. Сердце его сладко замирало от предчувствия, от таинственной музыки, которая наполняла его голос певучестью.

— Наша память делает нас бесстрашными, не даёт сомкнуться над нашими головами злу. Мы собрались сюда, чтобы восстановить величие, солнечную победную красоту, пропеть хвалу неповторимому и бессмертному. — Веронов замер, чувствуя, как натянулась и дрожит протянутая через мирозданье струна. Повернулся к установленному на столе предмету, укрытому холстом. Схватил и, сдёргивая холст, задыхаясь, страстно захлебываясь, крикнул: — Слава товарищу Сталину!

Сдёрнул холст, и огромная икона полыхнула золотым и алым, плеснула в зал своим огненным светом.

На золотом поле, среди ангелов, в рост, в белом кителе, с бриллиантовой звездой Победы, стоял генералиссимус. Над его головой пылал ослепительный нимб.

Икона, как прожектор, светила в зал, испепеляя его. Веронов чувствовал ужас зала, гибнущие в страдании души, меркнущие от кошмара рассудки. Он куда-то проваливался, куда-то летел, в бархатную бездонную тьму. В сладчайшем падении испытывал несравненное наслаждение, неизъяснимое блаженство, в которое превращались мучительные крики толпы, слёзные стенания, хрипы ужаса.

Он видел, как отшатнувшаяся женщина с зобом закрывает локтем лицо, словно ей выжигали глаза. Как застыл с пустым, без дыхания ртом мужчина с хохолком, превращённый в камень. Как тучный казак съехал с кресла вниз и блестел одним эполетом. Весь мир вокруг бурлил, сотрясался. Шевелились кости в расстрельных рвах. Взбухали безвестные могилы в песках и тундрах. И его прадед в мундире горного инженера бежал по воздуху, беззвучно крича.

Веронов видел всё это, испытывая сладкий ожог в паху. Улыбаясь длинной волчьей улыбкой, покинул зал и вышел, никем не преследуемый.

Сел в “Бентли” и покатил в московском воздухе, в котором, казалось, пламенели лучи красно-золотой иконы.

Весь день Веронов испытывал счастливое вдохновение. Чувствовал молодую свежесть. Вся его плоть веселилась, смеялась. Тело порозовело, как у юноши, словно он принял радоновые ванны. Всё то страдание и ужас, что исторгали потрясённые люди, преобразились для него в ликующую энергию, какая бывает при омоложении. Пропасть, куда он проваливался под вопли и стоны, была упоительной, свободное падение порождало счастье, и на дне этой пропасти что-то мерцало, драгоценно вспыхивало, манило, будто там, на огромном удалении, находился бриллиант. И хотелось слиться с этим бриллиантом, испытать небывалое блаженство.

Он лежал на диване, среди разноцветных кальянов, которые шествовали один за другим, как экзотические птицы. Интернет бушевал. Порождённая Вероновым буря летела от сайта к сайту. Её разносили буйные блогеры, подхватывали остряки. Веронова проклинали, грозили судом. Им восхищались. Приводили отрывки текстов о раскулаченных крестьянах, расстрелянных маршалах, убитых режиссёрах и академиках.

“Будь проклят ты, сталинский ублюдок! Тебе гореть в аду”. “Сталин — не человек, а скорость света. А его невозможно остановить”. “Давайте одумаемся, проведём спокойную дискуссию: “Кто для России Сталин?”. “Мало вас Сталин стрелял! Жаль, не дострелял”. “Сталин — кровавый карлик, который съел сердце России”. “А вы все жиды вонючие!”

И множество фотографий иконы с генералиссимусом и золотым нимбом.

Волны, порождённые его эксцентрической выходкой, расходились по интернету. Вибрация растревоженного мира накладывалась на другие вибрации, одна волна проникала в другую, их сложение меняло зыбкое пульсирующее поле, в котором происходило множество одномоментных событий. Русские самолёты пикировали на Алеппо. Ополченцы Донбасса шли в наступление, выбивая противника из посёлка. Разгневанный американский президент показывал кулак журналисту CNN.

И всё переливалось, меняло очертание, и икона с генералиссимусом плыла в бесшумном океане, омываемая потоками мира.

Ближе к вечеру пришло электронное письмо.

“Блестяще! Вы истинный кудесник. Будем ждать техногенных последствий. Первый транш прошёл. Ваш Янгес”.

К письму прилагалась эмблема, напоминающая монету древней чеканки, времён Ниневии или Вавилона: змея, обвивающая колонну.

Веронов соединился с банком, где хранил деньги, и убедился, что на его счёт только что пришло два миллиона рублей.

Он лежал на диване, вспоминая сладостное падение в бездну, в глубине которой дышал, переливался дивный бриллиант, манящий, влекущий, обещавший небывалое счастье. Эта бездна находилась в нём самом, он падал в себя самого, и заветный бриллиант переливался в глубине его сущности, на такой её глубине, до которой невозможно дотянуться рассудком, а только колдовством, волшебством его искусства. Разрушением запретных преград, срыванием заветных печатей, одну из которых он только что сорвал. Он вдруг вспомнил нечто, что испытал когда-то в детстве и что было связано с мамой.

Мама, драгоценная, ненаглядная, — её лёгкий прах покоился на небольшом подмосковном кладбище, закрытом для новых погребений. Туда раз в год приходил Веронов, стоял у розового камня, на котором было вырезано дорогое имя, вдруг тускневшее, плывущее в тумане от неудержимых слёз. С мамой был связан свет, который не давал тьме сомкнуться в его душе, уберегал от злодеяний, позволял выстоять среди жестокого и кромешного мира.

Их веранда на даче, полная янтарного солнца, и мама, улыбаясь своей милой улыбкой, протягивает ему белую булку с мёдом, и золотистая медовая капля блестит на её руке. Ёлка наполняет их дом ароматами леса, тёплого воска, волнующей сладостью праздника, и в блеске шаров, в мерцании голубой

слюды мамина рука скользит среди хвои, вешает за петельку стеклянную звезду. Зимнее окно с синим снегом, красная кирпичная стена дома, и мама читает ему сказку о богатыре, и на картинке богатырский конь склонил голову к придорожному камню. Заброшенная церковь, полная душистого сена, и мама, смеясь, легонько толкает его в это сено, которое принимает его в свою шелестящую глубину, и они с мамой лежат на сене, глядя, как в куполе церкви розовеет нарисованный ангел.

Их дача стояла на зелёной горе, над рекой. Мама ушла на речку сполоснуть бельё, а он остался в доме, перебирая засушенные цветы среди газетных листов, — жёлтый зверобой, белый тысячелистник, фиолетовый горошек. И вдруг испытал прилив нежности, захотелось увидеть маму, обнять, поцеловать её каштановые душистые волосы. Он выбежал из избы. Гора была зелёной, солнечной, с неё сбегала розовая тропка прямо к синей реке, у которой на мостках мама полоскала бельё. И такой огромный солнечный мир был вокруг, такая синяя река с разбегавшимися кругами, такая любимая обожаемая мама, к которой он сейчас сбежит и обнимет, что детская его душа раскрылась навстречу необъятному восторгу, любви, словно кто-то светоносный, белоснежный, поднял его на руках, вознёс в высоту, в лучистую лазурь, и оттуда он видел весь дарованный ему мир, леса, деревни, зелёную гору, маму у синей реки.

Теперь, лежа на диване, Веронов старался воскресить то детское чудо, богоявление на зелёной горе. Не мог. Знал, что оно было, что несло в себе неизъяснимую сладость, указывало путь вверх, в лучистую бесконечность, куда ему не дано было воспарить. И теперь эта уходящая в небо лазурь сменилась таинственный, уходящей вниз бездной, в глубине которой мерцал таинственный подземный бриллиант.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Утром за кофе Веронов просматривал газеты. На первой полосе “Коммерсанта” размещалась крупная фотография Веронова, когда тот сдёргивает холст с иконы, открывая белоснежного генералиссимуса на золотом поле, окружённого ангелами. Нимб над головой Сталина казался солнцем, встающим над головой вождя. Заголовок гласил: “Православный сталинизм”. В статье сообщалось, что икона Сталина, наделавшая столько шума в обществе “Мемориал”, была изготовлена по тайному поручению Московской патриархии и написана в Софринских иконописных мастерских. Это подтверждает существование в церковной среде целого течения, прославляющего Сталина и утверждающего, что Сталин рано или поздно будет причислен к лику святых как мученик, отравленный врагами русского народа, с которыми всю жизнь боролся Сталин. Остаётся узнать, как относятся к упомянутому течению кремлёвские власти и скоро ли в кабинетах высших государственных чиновников появится икона Сталина.

Анна Васильевна дождалась, когда Веронов отложит газету, и сказала:

— Аркадий Петрович, вы уж меня извините, что я, быть может, вмешиваюсь в не своё дело и доставляю вам неприятность. Но вы же добрый, сердечный, интеллигентный человек. Зачем вам эти шалости? Кому-то от них смешно, а кому-то больно. Я читала, что вчера в зале, где вы выступали, многим стало дурно, а одну женщину с инсультом увезли в больницу. Пожалейте их, Аркадий Петрович. — Она волновалось, и её увядшее, когда-то красивое лицо порозовело от переживаний.

— Любезная Анна Васильевна, — ласково ответил Веронов, глядя на её большое, пополневшее тело, которое раньше, должно быть, волновало не одного мужчину, — искусство, которым я владею, вовсе не должно доставлять людям радость и удовольствие. Оно должно заставлять людей страдать, чтобы они очнулись от окружающей их пошлости и скуки. Может быть, они за это меня распнут. И будут правы. Художников всегда распинают.

— Не знаю, — огорчённо сказала Анна Васильевна. — В народе поселился зверь. Все ненавидят, обижают друг друга. А где живёт зверь? В ящике

он живёт, — и она кивнула на чёрный экран телевизионной плазмы. Веронов взял пульт и включил телевизор.

И сразу же натолкнулся на ошеломляющий сюжет. Под Нижним Новгородом столкнулись два скоростных поезда. Уродливая кишка съехавших с рельсов вагонов. Вереницы воющих санитарных машин. Воинские подразделения. Носилки. Металлический туман, в котором тускло мерцают мигалки. Сплющенные от удара стальные конструкции. Чьё-то окровавленное лицо. Рыдающая женщина. Сидящий на откосе старик. Крупным планом — лежащая на насыпи детская туфелька.

Веронов жадно смотрел. Авария произошла из-за сбоя электронной системы. А сбой случился после того, как вибрация, рождённая его перформансом, складываясь с другими вибрациями, усиливаясь, наполняясь таинственными энергиями, замкнула малый контакт, который передвинул дорожную стрелку, и случилось жуткое столкновение. Связь одного с другим была не прямой, но она существовала. Энергия разрушения, которую Веронов извлёк своей выходкой, привела к техногенной катастрофе, и это он повинен в смертях, увечьях, в гибели двух составов. Это открытие, ошеломив его, не вызвало раскаяния, чувства вины, а лишь странное больное удовлетворение. Он управляет разрушительными энергиями мира. Он тайный повелитель, от которого зависят жизни и смерти людей. Он обладатель могущества, которое увеличивает сладость того падения, того скольжения в пропасть, где мерцает подземный бриллиант.

Веронов сидел перед телевизором, втягивая ноздрями воздух, словно вдыхал металлический туман катастрофы. Прозвучал телефонный звонок.

— Аркадий Петрович? С вами говорит протоиерей Марк из патриархии. Я работаю в отделе по связям с общественностью. Завтра мы проводим круглый стол в рамках воскресных чтений, посвящённый взаимоотношениям церкви и общества. Вас рекомендовало одно уважаемое лицо, и мы бы хотели услышать ваше выступление.

Голос был рокочущий, величавый, и, должно быть, великолепно звучал под сводами храма. Веронов знал, о каком уважаемом лице идёт речь. Удивлялся разносторонним связям Янгеса, который, судя по этим связям, был не простым банкиром.

— Я согласен, отец Марк. Завтра я выступлю.

Он стал готовиться к перформансу, как готовится боевик к совершению террористического акта. Он обдумывал сущность аттракциона, воображал обстановку, в которой ему предстоит действовать. Рылся в интернете, исследуя материалы о церковных событиях, о конфликтах, участившихся между священниками и людьми светской культуры. Принял душистую ванну и покрыл свое ухоженное тело мазями, лосьонами, благовониями, похожими на те, что источают священники, проводящее время среди кадильных дымов и елеев. Из реквизита своих театральных туалетов извлёк рясу. Примерил, надел на шею золочёный крест и несколько раз перед зеркалом осенил своё отражение крестным знамением.

Утром, облачившись в рясу, направился в Кадаши. Там, среди чудесных замоскворецких особнячков, шатровых колоколен, старинных палат размещался культурный центр, где проводился круглый стол.

Отец Марк оказался тучным, с волнистой гривой, розоватыми белками и огромной грудью, в которой перекатывался рокочущий бас.

— А я, извините, предполагал вас мирянином, — облобызался он с Вероновым, коснувшись его щеки влажными губами. — Где служите, отче?

— В Торжке, вторым священником, в Богоявленском храме.

— Дак там благочинным отец Георгий Лавров. Как он здравствует?

— Слава Богу.

Отец Марк оставил его, заторопился к дверям, в которых появился иерарх в клобуке, тёмной мантии, с сияющей панагией. Марк припадал к его белой сдобной руке, а тот крестил ему темя и оглаживал свою пышную, цвета железа, бороду.

Веронов расхаживал в коридоре. Заглянул в зал, где размещался длинный овальный стол с микрофонами, висел на стене образ Богоматери Державной.

В зале было пусто, и публика расхаживала по коридору. Раскланивались, целовались троекратно. Светские одежды мешались с церковным облачением.

— Как я рад, как я рад! — подлетел к Веронову господин с розовым лицом, холёными усами и бакенбардами. — Как Елизавета Семёновна? Удивительные наши русские реки! Удивительные монастыри! Незабываемое путешествие! — Господин спутал его с кем-то, и Веронов не стал его разочаровывать. Глубокомысленно произнёс:

— Волга — река русского времени. — И они расстались, господин побежал здороваться с кем-то другим.

Два господина, любезно поклонившись Веронову, остановились недалеко от него.

— Вы заметили, что Понтифик первый поцеловал Святейшего? И Патриарх лишь ответил братским поцелуем. Торжество Православия было подтверждено, и одновременно был сделан шаг на преодоление мучительного раскола церквей.

— Удивляюсь ворчанию некоторых владык. Как глубоко всё-таки в нас сидит неизжитый грех старообрядчества.

Люди кружили по коридору, заглядывали в зал, ожидая приглашения. Наконец, прозвучал звонок. Все заполнили зал, стали рассаживаться. Одним было отведено место за столом перед микрофоном, и перед каждым лежал блокнотик и ручка, стояла бутылка с водой, другим — в зале.

— Ваше место здесь, отец Аркадий, — усадил Веронова отец Марк рядом с господином профессорского вида.

Другие расселись на стулья вдоль стен. Повсюду сияли кресты, белели бороды, смотрели внимательные строгие глаза. Несколько телекамер темнели зрачками.

Веронов испытывал волнение, предчувствие драгоценной секунды, когда в душе полыхнет обжигающий огонь, сорвёт его с места, вложит в уста восхитительные насмешливые и злые слова, и состоится преломление света, излом светового луча, мгновенный толчок сердца, перевёртывающий вверх ногами мир, и начнётся сладостное падение в бездну, скольжение в пропасть, которая разверзнется среди обыденного пошлого мира.

Поднялся иерарх с железной бородой и, оборотившись к иконе, прочитал молитву, и все крестились, кланялись драгоценной ало-голубой Богородице.

— Дорогие братья и сестры, — загудел в микрофон отец Марк. — С благословения Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси мы открываем наш круглый стол. Дух Православия от алтарей и амвонов распространяется в светские аудитории, на университетские кафедры, в книги и рукописи писателей, близких к Церкви. Именно это околоцерковное творчество нуждается в нашем каноническом попечительстве, ибо вольный дух художников и мыслителей может занести их в неверные пределы. Причащайтесь, братия, и не ошибётесь. Хочу предоставить слово нашему известному мыслителю и историку, с которым мы находимся в постоянном братском общении, Серафиму Григорьевич Монахову. Он сделает сообщение о Русском мире.

Названный господин имел пепельно-серебристое лицо, впалые виски, тонкий нос и бледно-голубые слезящиеся глаза. Худые пальцы перебирали листки бумаги, и микрофон воспроизводил их шорох.

— Принято утверждать, что Святой князь Владимир из всех возможных религий выбрал Православие, отдав предпочтение посланцам Византии, отвергнув католиков, мусульман, иудеев. Но разве, спрашиваю я, религии — это товар, лежащий на лотке, и их можно выбирать, щупать, пробовать на зубок? Не Владимир выбрал Православие, а оно выбрало его. После крещения князя в Херсонесе свет Православия воссиял над Россией и сделал её избранницей Христа. Тогда же образовался Русский мир, одна из ипостасей его является земным царством, а другая — небесным. Россия не может исчезнуть, не может пропасть, ибо её бессмертная часть находится на небесах.

Оратор вопрошающе осмотрел слушателей, ожидая услышать возражения. Но их не было. Иерарх произнёс:

— Очень глубокая мысль.

Оратор, вдохновлённый иерархом, продолжал:

— Земная ипостась Русского мира могла меняться. Увеличиваться, уменьшаться. Менялись границы, уходили и приходили народы. Но даже тогда, когда земная ипостась совсем исчезала, и русская история проваливалась в чёрную дыру, из небесной Руси, из Царствия Небесного падало в эту чёрную дыру несколько капель фаворской влаги, и Россия возрождалась во всей красе и могуществе.

Ему хлопали. Он, порозовев от удовольствия, кланялся всем. Выключил микрофон.

Выступал провинциальный батюшка, робея, сбиваясь, рассказывал о воскресных школах и православных гимназиях. Выступил областной чиновник из Воронежа и рассказал о благотворительности, о жертвователях, помогающих восстанавливать храм.

Веронов слушал, делал пометки в блокноте, чувствуя, как приближается заветный миг. Так чуткий охотник, затаившись, ждёт, когда птицы, забыв осторожность, приблизятся на расстояние выстрела. Он кивал, демонстрировал высшую степень внимания, лишь бы не спугнуть добычу. Но добыча не улетала. Иерарх величаво колыхал бородой. Профессорского вида господа, наклоняясь друг к другу, деликатно перешёптывались. Духовенство чинно слушало. Вдоль стен на стульях сидели аккуратные дамы, молодые безбородые семинаристы. Телеоператор скользил вокруг стола, улавливая камерой бороды, клобуки, сияющие кресты.

Выступал толстенький господин, которого отец Марк представил доцентом кафедры богословия в Инженерно-физическом институте.

— Деятельность Петра Степановича в стенах этой обители научной мысли свидетельствует о серьёзных сдвигах в обществе, о сближении веры и науки, которая преодолевает атеизм.

Доцент читал по бумажке, пугливо поглядывая на иерарха:

— Наш президент в своём обращении к Федеральному собранию сказал, что с присоединением Крыма в Россию вернулся сакральный центр власти. Заявление из ряда вон выходящее. Жаль, что мало кто обратил на него внимание. А оно значит, что после возвращения Крыма, после этого чуда, совершённого по воле Господа, власть в России становится сакральной. Власть президента становится сакральной. Он становится не просто гражданским президентом, но избранником Бога. Своего рода помазанником. Присоединение Крыма к России стало своеобразным помазанием президента, что делает его, по существу, монархом. Приближает долгожданное восстановление в России монархии.

Доцент выдохнул это последнее заявление торопливо и скомкано, боясь, что его перебьют. Но все спокойно отнеслись к его суждению, иерарх поощрительно кивал могучей железной бородой.

— А теперь, — отец Марк посмотрел на Веронова, — выступит отец Аркадий, который привёз нам поклон из Торжка от благочинного отца Николая. О чём будет ваше выступление, отец Аркадий?

Веронов почувствовал, как счастливо остановилось сердце, воздух вокруг стал прозрачней, икона Богоматери засияла, как радуга, чётки в руках сидящего напротив священника казались самоцветами, крест на груди тучного иерея полыхнул таинственным златом. Приближалась желанная секунда, приближался восхитительный миг, когда он рассечёт оболочку тленного мира, и огромные безымянные силы, закупоренные в тесный плен омертвелого бытия, рванут на волю, хлынут бушующим потоком, и он станет пить, захлебываться, насыщаться несказанной сладостью освобождённого мира.

— Ваше преосвященство, — он поклонился иерарху. — Достопочтенные отцы, — он обвёл глазами восседавший за столом клир. — Я служу в Торжке. У нас в городе стоит вертолётная часть. И много соборов. Половина из них восстановлена, и в них происходит служба. Другие подлежат реставрации. И мне приходится от наших горожан слышать: “Зачем восстанавливать храмы? Лучше строить на эти деньги боевые вертолёты”. И я отвечаю. Армия, вертолёты, корабли, танки защищают Россию вдоль её земных границ. А алтари и молящиеся у алтарей священники защищают небесные границы России, чтобы злые силы, сатанинские духи не проникли к нам.

Их отражает молитва. Каждый молящийся священник или монах — это воин Христов, отбивающий от наших границ сатанинские полчища.

Его слушали благосклонно. Иерарх поправил на груди панагию. Отец Марк одобрительно кивнул длинноволосой головой.

— И я говорю моим прихожанам на проповеди: “Зачем вы идёте в эту безбожную церковь, где вместо Бога — деньги, вместо веры — блуд? Попы, раскормленные коты, торгуют верой, содомиты, стяжатели. Это не Церковь Христа, а церковь сатаны. Не храм Богородицы, а вертеп дьяволородицы. Под рясами попов — козлиная шерсть, под клобуками — рога, и весь клир — пахнущие серой и фосфором козлища!”

Веронов с блеянием вскочил на стул. Вспрыгнул на стол. Расстегнул крючки на рясе, сволакивая её с себя. Голый, в одних плавках, затанцевал на столе, набросив на лицо отвратительную козлиную маску. На его теле синей краской была нарисована змея, обвивающая колонну. Он играл, крутил животом, и змея извивалась. Он видел обомлевшие лица священников, выпученные глаза иерарха, задравшего холёную бороду, отца Марка с открытым ртом, осеняющего себя крестным знамением.

Веронов с ликующим кликом, с пронзительным клёкотом проваливался в чёрную бездну среди скользящих мерцающих стен, испытывая несравненное наслаждение, дивную вспышку в паху. Стеная, проваливался туда, где приближался из мрака сверкающий бриллиант, желая слиться с ним, стать этим волшебным бриллиантом. Не долетев до чудесного света, остановился в падении. Бесшумно вознёсся ввысь.

Он голый стоит на столе. Ошеломлённые, в обмороке, батюшки. Иерарх схватился за сердце. Какой-то семинарист опрометью покидает зал. Какой-то дюжий монах пытается схватить Веронова.

Веронов подхватил упавшую на стол рясу, кое-как замотался в неё, сбросил козлиную маску и выбежал из помещения. Катил по Москве, натягивая на плечи драную тёмную ткань. Ему казалось, что вслед машине мчатся, перевёртываются, хохочут уродливые существа. То ли хотят его изловить, то ли славят его.

Вернувшись домой, он принял горячую ванну. Тёр пенистой губкой грудь и живот, смывая змею. Краска была едкой, и змея плохо смывалась, и он стирал её до боли, а потом раздражённую кожу мазал целительным кремом. Всё его тело ликовало, как в детстве, когда просыпался в лучах солнца, и все его клеточки пели, восхищались своим ростом, как радуется молодое хлебное поле, где всходит каждое зерно, напоенное светом и влагой.

Он старался понять природу своего наслаждения. Его веселил успех аттракциона, испуг людей, не ожидавших подвоха. В этом была его изобретательность, весёлое коварство, пусть злое, но шутовство. Но помимо этого наслаждение доставляло попрание запретов, разрушение табу, которое наложило на жизнь человечество за долгие годы своего существования. Он был революционером, разрушителем. Он поднимал восстание. Он разрушал темницы, в которых томились древние чувства и желания. Он нёс свободу. Он нёс свободу запечатанному человечеству. Он был освободитель, и там, где он проходил, раскрывались темницы, и скованный дух вылетал на свободу. Именно этот освобождённый, веками таившийся дух омолаживал его, делал счастливым, заставлял ликовать. Это было упоительно. Делало его великим художником, возвышало над всеми мастерами.

Так думал он, лежа в ванной, среди душистой пены, слыша, как тихо журчит из крана вода. На его розовой груди вновь проступила змея, и досадуя, он снова тёр грудь твёрдой щёткой, избавляясь от навязчивой гадины.

Интернет клокотал, хохотал, глумился.

“Козёл в монастырской капусте”. “Атака сатанистов”. “У владыки Амвросия случился выкидыш”. “Богохульник должен предстать перед судом”. “Что, попы, дождались кары небесной?” “Иудеи не дремлют”.

Пришло электронное сообщение от Янгеса: “Восхищаюсь! Вас причислят к лику святых! Очередной транш прошёл”.

Он лежал на диване среди кальянов, слыша слабые звоны Новодевичьего монастыря, и думал о природе своего искусства. Оно родилось не вчера.

Молодым человеком он работал в закрытом институте, изучающем Космос. Вместе с другом Степановым они проектировали космические поселения для дальнего Космоса, где превалирует "серая материя", действуют иные законы природы. Мир, как утверждал Степанов, подчиняется геометрии Лобачевского, согласно которой две прямые пересекаются в бесконечности. И второй мир, мир Меньковского, умонепостижимый, запечатанный и нераскрытый. Они со Степановым стремились смоделировать эти миры, искали их математический и эмоциональный образ. Доводили себя до безумия. Веронов считал, что этот образ открывается человеку в момент стресса или в момент смерти, или в секундных откровениях, когда в мозг из других миров влетает космическая частица, замыкает в мозгу нейроны, и человеку на одно мгновение открываются фантастические картины, которые затем навсегда пропадают.

Для поиска этих частиц они поднимались на вершины Памира и часами, днём и ночью сидели среди светомузыки гор, под огромными звёздами, дожидаясь гостьи из Космоса. Они прыгали с парашютом, били себя электрическим током, оглушали страшными децибелами, топили себя, фиксируя свои видения и переживания.

Их разработки, чертежи, рисунки, математические выкладки были остановлены распадом страны, крахом науки, смертью великих начинаний. Их институт закрыли, в нём хозяйничали американцы, вывозя секретную документацию. Предлагали Веронову и Степанову уехать в Америку. Веронов согласился, а Степанов остался в России на воде и хлебе.

В Америке Веронов недолго поработал в Хьюстоне, а потом познакомился с компанией художников, творцов современного искусства. Так родились его перформансы. Так он погружал публику в стрессы, извлекая из этих стрессов небывалые переживания. Вернувшись в Россию, он несколько раз порывался отыскать Степанова, позвонить по его домашнему телефону. Но откладывал звонок. Откладывал встречу с прошлым.

За окном тихо шелестела Москва. Веронов слышал множество переливов, слабых всплесков, словно он лежал на отмели, и на него набегали невидимые волны. Они неслись в мироздании, соединяли его с бесчисленными явлениями мира: звёздами, цветами, атакующими танками, висящими на дыбе мучениками, девственницей, кричащей в объятиях насильника. Он слышал, как просачивается в мир, обретая волновую природу, его сегодняшнее действо: задранная борода иерарха, испуганный зев отца Марка, полное тоски лицо безусого семинариста.

Встал и включил телевизор. Сюжет, на который он натолкнулся, рассказывал о трёх девочках-подростках, которые, взявшись за руки, с блаженными улыбками бросились с крыши двенадцатиэтажного дома. Так и лежали в крови, взявшись за руки. Веронов знал, что их роковой прыжок был связан с перформансом. Когда он вскочил на стол, разрывая рясу, девочки подходили к краю крыши. Когда он танцевал, выкрикивая глумливые слова, они летели вниз. Когда он побежал из зала, они стукнулись о землю. Этот сюжет не поразил его, а только изумил. Какая таинственная связь существует между его колдовскими действами и удалёнными событиями, где случаются чудовищные разрушения? Ответа не было. Были три подруги, которые с улыбкой себя убили.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пребывая в возбуждении, он не мог оставаться дома и отправился на вечеринку, которую устраивал один модный литературный журнал. Редакция находилась недалеко от Чистых прудов. Там собирались писатели и поэты, актёры и безалаберные милые фантазёры, неизбежные спутники богемы, наполнявшие подобные вечеринки смешливыми разговорами и безобидными сплетнями.

Вечеринка проходила в ресторане, где были убраны столы, служители разносили напитки, гости снимали с подносов бокалы и рюмки и медленно кружили по залу, слипаясь в нестойкие группы, чокались, судачили, теряли

друг к другу интерес, переходили из одной группы в другую, создавая в зале непрерывное кружение, в котором что-то размешивалось, какой-то невидимый раствор, выпадал какой-то невидимый осадок.

Веронов чувствовал свою принадлежность к этому сообществу, где все друг друга знают, дружат, недолюбливают, кидаются друг другу на помощь, вероломно отворачиваются. Где все нуждаются друг в друге, как нуждаются лесные деревья, кусты, трава, грибы, мхи и лишайники, что всё вместе и называется лесом. Так думал Веронов, посмеиваясь над собой, не зная, кем себя считать — жимолостью, жёлудем или сыроежкой.

— О, привет, Аркадий! — кинулся целоваться писатель Цесерский, автор манерных, с претензией на модерн, эротических повестей. — Ну, ты великолепен! — Цесерский был худ, с лицом молодящегося старика, с тяжёлыми морщинами, добытыми не в тягостных раздумьях, а в страстных и порочных поползновениях. Он был одет в жёлтый пиджак и сиреневые штаны, на шее красовался шёлковый розовый бант, и это экзотическое облачение соответствовало эстетике его повествований, модной, дорогой и безвкусной. — Слушай, твои последние перформансы наделали шума. Это новое слово. Ты взрываешь все мосты, все храмы и все могилы, и мы любуемся летящими в небо осколками. Россию надо взрывать, взрывать и взрывать. Надо сделать русский народ очумелым. Чтобы он жил среди взрывов. Чтобы он сошёл с ума и только потом прозрел. Русский народ — это бык с налитыми кровью глазами. Ты сражаешься с этим быком. Ты тореадор современного русского искусства! — Цесерский смотрел на Веронова дружелюбно, но его коричневые, с розоватыми белками глаза таили тревогу, словно он ожидал от Веронова едкой насмешки и своими комплиментами предупреждал возможность такой насмешки. — Ты знаешь, вышла моя новая книга “Отравленная лилия”. Пришлю тебе обязательно, она в твоём вкусе. Я только что из Парижа, презентовал “Лилию”. Огромный успех. Договоры на переводы, рецензии в “Фигаро”. Ты знаешь, французы считают меня лучшим русским писателем. Что ж, я не мешаю им так думать! Надо ехать на Запад, только там оценят наше с тобой искусство. Здесь, в России, мгла! Искусство не нужно. Власть жрёт, народ пьёт. До какой степени оскотинился народ! Русским отведено место в стойле, и они охотно его заняли. В России всё гадко — власть, дороги, автомобили, книги, котлеты. Одно хорошо — это женщины. “Волосатое золото”, как его называют. Я возвращаюсь из Парижа в Россию только для того, чтобы насладиться русскими женщинами. У них особые пальчики, особые соски, особые губки, особое выражение глаз, когда ты доводишь её до экстаза, а потом делаешь больно. Их глаза меняют цвет. Я описал это в моей книге “Русские прелестницы”. Ну, ты читал, конечно...

Мимо Веронова прошла девушка в спортивной расстёгнутой куртке и белой майке, под которой волновалась свободная, ничем не стеснённая грудь. У девушки было смуглое, как у мулатки, лицо, чёрные вьющиеся волосы, сиреневые губы и яркие, шальные глаза, которыми она скользнула по Веронову, маня его куда-то сквозь толпящийся люд. Веронов притворился, что этого не заметил, и повернулся к поэтессе Лиле Воронецкой, которая писала стихи про арийцев и нибелунгов и побывала на Украине в частях, что сражались в Донбассе с повстанцами.

— Ну, как “Золото Рейна”? Как Зигфрид? Как Вагнер? — Веронов поклонился и внимательными, чуть смеющимися глазами оглядывал мужеподобное лицо поэтессы, тяжёлый подбородок, мужскую солдатскую стрижку, камуфлированную грубую куртку и брюки. Представлял, как в этом камуфляже среди боевиков батальона “Азов” она читает свои стихи.

— Арийские мифы побуждают человека не бояться смерти, обращают его к величию, — сумрачно ответила Воронецкая. — Русский народ больше не верит в бессмертие, отвернулся от величия. А я отвернулась от русского народа. Я больше не русская. Я учу иврит, учу украинский. Я не хочу быть среди подлого трусливого народа, который отдал себя во власть еврейским банкирам и служит охранником в еврейских банках. Я сменила народ.

— Можно сменить пол, но как можно сменить народ? — Веронов чуть было не пошутил, что Воронецкая, судя по причёске и штанам, похоже, уже

сменила пол. — Твой народ будет преследовать тебя до предсмертного шёпота, ибо ты перед смертью станешь шептать по-русски.

— Я перед смертью прочту на иврите мой стих, посвящённый Моше Даяну, который купался в крови этих недочеловеков арабов.

— А как тебя принимали в батальоне “Азов”? Они не разглядели в тебе новую Ахматову и Цветаеву?

— Я читала им стихи на украинском, на позициях, где артиллерия била по этим бандитам и недоноскам в Донбассе. Я сказала, что каждый убитый ими русский вызывает во мне восторг. И я попросила артиллеристов позволить мне выпустить снаряд по Донецку.

— Может быть, твой снаряд убил неизвестную тебе русскую поэтессу по другую сторону фронта?

— Я бы очень этого хотела. Мои стихи — это снаряды, которые я выпускаю в сторону народа-отщепенца, народа-предателя! Каждый русский, которого привозят в брезентовом мешке из Сирии или с Донбасса, — премия за мои стихи! — Воронецкая резко повернулась к Веронову бритым затылком, и Веронову показалось, что от её одежды пахнуло казармой и гарью.

В Веронова вцепился пробегавший мимо чернявый, похожий на колючку публицист Меерович, посвятивший всё своё творчество высмеиванию президента. Он схватил пуговицу на сюртуке Веронова и стал сыпать мелкими смешками, мерцал бусинками фиолетовых глаз:

— Последний кремлёвский анекдот. Президент летит в Алеппо принимать парад российских солдат-победителей. Одновременно решил испытать систему Глонасс в условиях Сирии. Прилетает, строй бойцов. Он выходит: “Здравствуйте, товарищи грушники!” А они в ответ: “Аллах Акбар!” Оказывается, Глонасс сдал сбой и привёл его в расположение ИГИЛ. Смешно? — И Меерович, хихикая, отцепился от Веронова и побежал дальше, чтобы колючкой прилипнуть к кому-нибудь другому и рассказать тот же самый анекдот.

Веронов снова увидел смуглую девушку, которая прошла совсем близко от него, опустив глаза и улыбаясь сиреневыми губами, и эта улыбка сиреневых губ предназначалась ему, Веронову, и её рука с бокалом показала куда-то в сторону, приглашая за собой Веронова. Но он снова сделал вид, что не увидел знака.

— Кто эта особа с сиреневыми губами, которая ходит кругами с бокалом вина? — спросил Веронов у модника, писавшего острые эссе в глянцевые журналы.

— Вы не знаете? Лариса Лебедь. Дочь крупного нефтяника из списка Форбс. Живёт в Европе, приезжает в Москву, чтобы устроить пару скандалов. Папа выкупает её из рук полиции, и она, удовлетворённая, уезжает обратно в Европу. По-моему, она ищет повод устроить скандал. От неё подальше держитесь.

Устроитель вечера, главный редактор издания, уже слегка подшофе, расплескивая из стакана виски, возгласил:

— А теперь, дорогие собратья, как всегда в традиции наших встреч, прозвучат стихи. Сегодня их нам читает один из самых экстравагантных, революционных поэтов Вениамин Кавалеров. Прошу тебя, Веня!

Гости расступились, освободив круг, стояли, не выпуская из рук бокалов и рюмок. В круг вышел невысокий изящный человек, словно фигурка, вырезанная из кости, в чёрной рубахе, из которой видна была худая, в стариковских складках шея. Его лицо было высохшим, сморщенным, как плод, пролежавший долго на солнце. Седой бобрик, выбритые виски, рука с перстнем — всё было модным, стильным, изысканным, словно над его обликом работал опытный стилист. Поэт Вениамин Кавалеров был из числа эмигрантов, покинувший советскую страну и годы живший в Париже, сотрудничая с антисоветскими журналами и подвизаясь в богемных салонах. Там он воспринял стиль революционных студентов, философию Сартра и поэзию французского авангарда. Вернувшись в новую Россию, он продолжал исповедовать революционную идею, участвовал в демонстрациях и создавал эстетику грядущей в России революции. Теперь он стоял, окружённый литераторами, отчуждённый от них едва ощутимым высокомерием, сознавая себя не столько

поэтом, сколько провозвестником грядущих бурь. Он поднял свою лёгкую руку с блеснувшим перстнем и стал читать:

В Кремле разбилось голубое блюдце,
И с колокольни колокол упал.
Зажглись над Русью люстры революций,
И начался кромешный русский бал.

Голос у Кавалерова был с клёкотом, петушиный. Он своим чутким слухом поэта угадывал больше других. Видел солнце задолго до того, как оно взойдёт. Пророчествовал, пугал своим пророчеством не ведающий суетный люд.

Ударил час, и мир сорвал личину,
И чаянье пророка воплотилось.
Пришла вода, и Кремль взяла пучина,
Чудовищный России "Наутилус".

Веронов вдруг ясно ощутил невидимый вал времени, который надвигался. Ещё не наступил, но уже стоял у горизонта тёмной стеной, готовый их накрыть.

Революция, которая их всех поглотит, распорядится с каждым по-своему. Те, кто сейчас дружелюбно чокается, мило улыбаясь, станут непримиримыми врагами, будут стрелять друг в друга. Те, благополучные и респектабельные, наденут красные галифе, повесят на бедро "Стечкина" и пойдут убивать тех, кто сейчас стоит рядом с ними, рассказывая забавные анекдоты. Та, в модной шёлковой блузке, с бриллиантиками в ушах, станет проституткой в парижском борделе. А та, с милой родинкой на свежем лице, пойдёт медсестрой в тифозный лазарет. Тот станет жестоким предводителем новой страны, а этот пойдёт по этапу. И он, Веронов, ещё не зная своей доли, чувствует трепет, ожидание этого грозного вала, который изменит всю его жизнь, даст ему новый образ, быть может, ужасный.

Святая Русь, берёзовая грусть,
Ты участи своей не избежала.
Мне, сыну своему, разъяла грудь,
Вонзив штыка отточенное жало.

Веронов смотрел на изящного хрупкого, как резная статуэтка, Кавалерова, на бледную руку с перстнем, стильный бобрик, и чувствовал беду его поэтических прозрений, которыми он выкликал бурю, тревожил неподвижное русское время, извлекал из него взрыв. И эта буря летела, морщила, рябила недвижную гладь, была готова ворваться ревущей жутью, сметая зыбкую жизнь. Кавалеров с окровавленной головой, с пробитым лбом лежал в овраге, расстрелявшие его конвоиры удалялись, забрасывая на плечи ремни автоматов, и в овраге зацветала черемуха.

В салон, где процветали недомолвки,
Где скептик остроумием блистал,
Влетел снаряд тяжёлой трёхдюймовки
И начал повесть с белого листа.

На белой стене были развешены фотографии с именитыми гостями, посещавшими редакцию журнала. Поэт Быков с круглой головой и усиками, похожий на кота. Вдова Солженицына Наталья с белым волевым лицом, продолжающая на земле миссию покойного мужа. Американский посол в Москве Стелбот, окружённый сияющими членами редакции. Веронов смотрел на белую стену, нарядные рамки фотографий и чувствовал, как снаружи налетает, приближается к зданию снаряд и сейчас с грохотом проломит стену, оставляя рваную дыру, промчится слепым вихрем над головами гос-

тей и вылетит сквозь другую стену. И в открывшуюся дыру станет слышен шум улицы, рёв толпы, пулемётные стуки, и в светский салон ворвётся бешеное время, о котором пророчествует хрупкий, с петушиным клёкотом читающий свои стихи поэт.

Померкнут блёстки мишуры мирской,
Повиснут флагов ветхие мочалки.
Тогда в ночи промчатся по Тверской,
Сверкая пулемётами, тачанки.

Веронов вдруг испытал сладостную муку, слепящее, до боли в глазах страдание, жадную страсть к разрушению, в котором сгинут все обрыдшие образы мира, обступившие его тесной тошной стеной. И начнутся жуткие русские игры, уносящие с земли все омертвелые формы, все благополучные мысли, все благонамеренные слова, превращая их в разящий свист великого русского сквозняка.

Москва красна от липкого варенья.
Под тяжестью согнулись фонари.
Моя жена, как в первый день творенья,
Войди ко мне при отблесках зари.

Боже, была когда-то иная жизнь, прекрасная женщина, её чудесное родное лицо, от которого становилось чудно и светло, и они плыли в лодке по негаснущему отраженью зари, и вокруг стояли осенённые солнцем леса, и в зелёном небе летела утка, роняла в озеро незримую каплю, от которой по стеклянной воде расходились медленные нескончаемые круги. Ведь была эта дивная женщина, что могла бы его спасти от чёрной мглы, разрушительного безумия, смертельной тоски, в которой погибает его заблудшая душа.

Поэт Кавалеров закончил чтение, бессильно уронил руку, согнул беспомощно голову, словно у него обломилась шея. Пошёл в толпу, окружённый рукоплесканиями. Все чокались, поздравляли его, и уже о нём забывали. Занимались сплетнями, флиртом, шелестящими смешливыми разговорами.

— Вы отказываетесь меня замечать? — Перед Вероновым стояла девушка с сиреневыми губами, смуглолицая, с яркими глазами, в которых сверкали две серебряные безумные точки. — Вы так избалованы женским вниманием?

— Напротив, я боюсь женщин, чураюсь их, — насмешливо произнёс Веронов. — Мне показалось, вы делаете знаки кому-то другому, не мне. Я не достоин вашего внимания.

— Напротив, среди этой комариной толкотни, этих жужжащих литературных мошек вы один заслужили мой интерес. Я Лариса Лебедь. — Она протянула ему смуглую руку с тонким запястьем, на котором блестела золотая цепочка.

— Аркадий Веронов.

— Вам не нужно представляться. Весь интернет полон ваших изображений. Вы строчите из пулемёта, пугаете бедных правозащитников иконой Сталина, танцуете нагишом перед Патриархом Всея Руси.

— Положим, это был всего лишь архиепископ. Но всё равно, мне неловко за мои нелепые шалости.

— Напротив, вы ими можете гордиться. Я ненавижу этих добродетельных пошляков, которые мнят себя добропорядочными членами общества. Мне хочется их оскорбить, сорвать с них личину, облить всех зелёнкой. Именно этим вы занимаетесь: обливаете всех зелёнкой.

— У меня и теперь с собой флакон зелёнки. — Веронов хлопнул себя по карману, кивая на клубящийся с винными бокалами люд.

— Представляю, какое наслаждение вы испытываете, когда видите изумлённые, выпученные от страха глаза! Это наслаждение — видеть в глазах обывателя вызванный вами страх!

— А чем вы пугаете обывателей?

— Быстрой автомобильной ездой. Жму на педаль, смотрю, как стрелка приближается к трёмстам километрам в час, как отскакивают от меня автомобили-черепахи, как сыплются горохом пешеходы, как воет бессильно сирена патрульной машины, и лечу по Москве, которая кажется размытой акварелью.

— Как бы я мечтал оказаться с вами в одной машине! — Веронов вдруг жадно захотел поцеловать её сиреневые губы, сжать их так, чтобы она застонала от боли, и он почувствовал солоноватый вкус её крови.

— Хотите прокатиться?

— Хочу.

— Пойдёмте.

Они вышли из редакции. Была тёплая московская ночь, когда накалённые камни, железные крыши и чугунные ограды источали накопленный за день жар. Пахло клумбами, духами и табаком от прохожих. На стоянке Лариса Лебедь подвела его к красной "Альфа Ромео", которая казалась дельфином, застывшим на гребне волны. Тихо хрустнул замок, брызнули фары.

— Садитесь, — она пригласила Веронова, и тот погрузился в мягкую глубину машины, окружённый запахами кожи, сладких лаков и едва ощутимых благоуханий, которые оставляет в машине молодая прелестная женщина.

— Пристегните ремень, — сказала Лариса. Осторожно, бесшумно вывела машину со стоянки, а потом резко, с рёвом кинула её на проезжую часть. Вильнула, обходя тяжеловесный вседорожник, с грохотом, как стартующая ракета, ринулась по бульварам.

Веронов ужаснулся дикому старту. "Альфа" врезалась в узкие зазоры, обгоняя попутные машины, задевала их зеркалами, казалось, толкала своими красными бёдрами. Как игла, пронзала тесное пространство у чугунной решётки, и Веронову чудилось, что сейчас хрустнет металл, и какой-нибудь крюк намотает на себя красный рулон жести.

— Нравится? — крикнула сквозь грохот Лариса Лебедь, успевая шарахнуться от злого рассерженного "Мерседеса".

Бульвар запрудили машины, она истошно сигналила, а потом чудодейственным скачком перемахнула ограду и помчалась среди деревьев, озаряя фарами шарахающихся людей, лихо избегая скамеек, и что-то мягкое шлепнуло по стеклу, то ли слетевшая с головы шляпа, то ли вырванная ветром из рук газета.

— Нравится? — снова крикнула она, когда они вернулись на проезжую часть и с бульвара, на красный свет, проскрежетав тормозами, свернули на Маросейку.

Веронов, сжатый, втиснутый в кресло, смотрел на неё, и она казалась ему сумасшедшей. Яростные глаза. Открытый, жарко дышащий рот. Среди сиреневых губ — красный влажный язык. Руки бьют по рулю.

Это было безумное упоение, ожиданье удара, смертельного хруста, последней вспышки. Веронов боялся её окликнуть, не смел останавливать, ибо это могло привести к сбою чудовищного ритма, грозило крушеньем. Он только смотрел остекленелыми глазами, как мелькают фасады, валятся назад колокольни, проносятся красные огни светофоров. Навстречу шёл троллейбус, и она мчалась ему в лоб, желая врезаться, протаранить, полыхая фарами. И только в последний момент отвернула, подрезала испуганную машину.

Они грохотали теперь по Садовой. Алая и пленительная, как губы красавицы, "Альфа Ромео" превратилась в свирепого хищника, который с ужасающим рыком рвал пространство, терзал другие машины, вылетал на встречную полосу, слепил огнями, предупреждал устрашающим рёвом, непрерывным надсадным гудком. Веронов видел, как стрелка спидометра пересекает красную риску. В женщине рядом с ним горела смертельная страсть, дышала ярость, которую она переливала машине, и та была готова убить себя, расплющить в раскалённую красную кляксу.

Мимо, как миражи, проносились фасады, озарённое светом высотное здание, витрины, рекламы, брызгающие бриллиантами гирлянды, лунно-голубые колонны. Следом за ними уже выли патрульные сирены, истошно мигали фиолетовые вспышки. Они ускользали от погони. Лариса Лебедь оглядывалась

на Веронова с безумным счастьем, с хохочущим оскалом зубов. Полицейская машина пристроилась сбоку, и металлический голос приказывал остановиться. Но “Альфа” обошла машину, и было слышно, как что-то лязгнуло, заскрипело сзади, и голос умолк, прерванный ударом. Веронов вдруг ощутил счастливый провал в груди, упоение смертельными скоростями, приближение гибели. Слом всех запретов — они рассыпались в прах, уступая безумной воле к смерти, воле к небытию, которая открывалась в душе, как заветная бездна.

Они свернули с Садовой у Самотёки, метнулись к театру Российской Армии, нырнули в пустынную улицу с чахоточными клиниками. Памятник Достоевскому мелькнул, озарённый светом, похожий на горящую свечу. Скользнули в тёмные переулки, под шлагбаум. Остановились у дома с фонарём, похожим на люстру. Лариса Лебедь небрежно бросила машину. Пошла, не оглядываясь на Веронова, к подъезду. Он шёл следом, слыша, как тихо стонет сзади машина. За Ларисой Лебедь воздух светился, как ночное море, по которому прошёл катер.

Они поднялись на лифте. Она отомкнула дверь, вошла в тёмную квартиру и по мере того, как шла по комнатам, зажигая свет, она сбрасывала туфли, куртку, стягивала майку, роняла юбку, переступала через разбросанную одежду, голая, глянцевитая от пота. Направилась в ванную, и там, не прикрыв дверь, стояла под душем среди блестящего кафеля, и Веронов видел её поднятые локти, сильную грудь, блестящую спину, по которой бежала вода.

В постели она была душистая, влажная. Не давала обнять себя. Извивалась, как змея. Во время поцелуев больно кусала его. Нависала над ним и мчалась, как наездница, с криком, хохотом, без устали, закрыв глаза, словно продолжала недавнюю гонку, куда-то желая прорваться, испепелить плоть, превратиться в слепящую бестелесность. С последним вскриком, мучительным стоном ослабела, упала рядом и лежала, как мёртвая, неловко вывернув руку. Веронов смотрел на её близкое плечо с красно-синим цветком татуировки.

— Они там все манекены. Из глины, из папье-маше, — тихо произнесла она.

— Кто манекены? — переспросил он.

— Все европейцы превратились в манекены. Пустые и смешные. Их хочется толкнуть и разбить.

— Но ты выбрала Европу. Ты там живёшь, тебе нравится.

— Мне нравится, когда арабы в чёрных масках с “Калашниковыми” врываются в синагоги и ночные клубы и опустошают там все обоймы. Мне нравится, когда выходец из Сенегала с фиолетовым лицом и кровавыми белками садится за руль грузовика и давит толпу манекенов в Ницце.

— Тебе нравятся террористы?

— А разве ты не террорист? Ты приходишь в собрание, где собрались манекены, и взрываешь их.

— Это искусство. Я художник.

— Террорист — великий художник. Он соскабливает своими взрывами и автоматными очередями пошлую обветшалую фреску и пишет другую, сочную, обрызганную кровью. Старое человечество, склеенное из глины и папье-маше, человечество неодушевлённых манекенов, исчезает среди грохота и огня, и возникает молодое человечество, орошённое живой кровью. Террористы делают надрез кесарева сечения, и появляется младенец, обрызганный кровью.

— Может быть, ты собираешься поехать в Сирию и примкнуть к ИГИЛ?

— Зачем мне Сирия? Скоро Россия превратится в сто тысяч Сирий. Мне место здесь.

— Ты что, веришь пророчествам Кавалерова? Ждёшь новой русской революции?

— Она уже началась. Всмотрись в глаза людей. Среди тусклых, погасших вдруг вспыхнет взгляд, в котором ненависть и восторг. В котором рушатся эти мерзкие дворцы, супермаркеты, золочёные храмы. Где горят города.

Где на красных русских зорях мечутся бесчисленные стаи чёрных ворон, а в белых руках рублёвских красавиц засияет воронёный ствол автомата.

— Кем ты будешь в этой русской революции?

— Мне примером служат те женщины, что в кожаных куртках и галифе расстреливали из наганов тучных банкиров, трусливых министров, дурных офицеров.

— Мне кажется, ты вполне готова для этой роли. Сегодняшняя гонка показала, что ты готова убить людей и убить себя. Ты всегда так водишь машину? Всегда гоняешь по дорожкам скверов на скорости двести в час?

— Я хочу на этой скорости ворваться в Кремль, в Троицкие ворота, пронзить его насквозь и вылететь на Красную площадь из Спасских ворот. Хочешь, промчимся вместе?

— Нас расстреляют на подходе к воротам.

— Ты не бойся смерти. Смерть — это то, что подают в конце жизни на сладкое. Хочешь меня убить? — Она повернулась к нему и смотрела тёмными, без белков, безумными глазами, в которых Веронов угадал ту исступленную сладость, что сам испытывал, проваливаясь в смертельную бездну. — Убей меня!

Веронов слушал её, смотрел на сине-красный цветок на её плече, на близкую грудь с тёмным соском, к которому она не давала ему прикоснуться. Испытывал нарастающую едкую неприязнь, не только к ней, но и ко всем, с кем повидался на сегодняшней вечеринке. К нарциссу Цесерскому, изнурённому старческим эротизмом. К извращенке Воронецкой, решившей перейти из одного народа в другой. К салонному революционеру Кавалерову, чья имитация воспета модными французскими журналами. И к этой пресыщенной дочке миллионера, которая из холёной Европы приезжает в Россию позабавиться среди обезумевших московских обывателей, как приезжают иностранцы поохотиться на экзотического русского зверя.

Все они были сверхлюди, возвышались над маленьким бренным человечком, находили в этом оправдание своим интеллектуальным бесчинствам. И Веронову хотелось взорвать это клановое превосходство, сбросить их на грязную землю, потоптаться на них измызганными подошвами. Он чувствовал, как начинает сочиться в душе мучительное наслаждение, предчувствие тёмной пропасти, куда полетит, оставляя за собой рваный провал, взрывную волну, сносящую незыблемые опоры, и он спрячется от этой волны в бездонную воронку.

— Мне надо идти, — сказал он.

— Ты не останешься?

— Нет.

— Как хочешь, — равнодушно сказала она.

Веронов стал одеваться. Застёгивал рубаху, чувствуя, как в душе слабо трепещет, сотрясается в неслышных вибрациях незримый взрыватель:

— Ты знаешь, мне надо тебе что-то сказать. — Он застёгивал манжеты рубахи. — Я очень виноват.

— Что такое? — вяло спросила она.

— Мне было трудно с собой совладать. Ты такая прекрасная. И эта езда, эти безумные скорости.

— В чём дело?

Он набрасывал пиджак, просовывал ступни в замшевые туфли:

— Мне страшно тебе признаться. Я негодяй. Но я не мог совладать.

— Да что, в самом деле?

— Видишь ли, я должен был тебе сказать. Но какое-то безумие. Ты такая прекрасная. Я забыл обо всём.

— Перестань! Говори!

— Видишь ли, у меня СПИД. На очень скверной стадии. Прости.

— Что? — возопила она. — Что ты сказал?

— Может, ещё не поздно. Ты обратись к врачу. Может, я не успел тебя инфицировать.

— Мерзавец! Как ты мог? Ты гадюка!

— Мне очень жаль. Прости меня. — И он пошёл из комнаты к выходу,

слыша, как разрастается взрыв, как взрывная волна сметает весь модный литературный салон, и летят, перевёртываясь, смехотворный Цесерский в канареечной пиджаке, Воронецкая в отвратительном камуфляже, поэт Кавалеров со своей бледной изысканной кистью, украшенной перстнем, и эта голая красавица с лиловыми губами, провожающая его истошным криком.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Он вернулся домой поздней ночью. В нём продолжали звучать рокочущие гулы, словно он крикнул в колодец, и крик гудел, отражался, из глубины раздавался чей-то незатихающий рык.

Он подошёл к окну и не увидел монастыря. Там, где обычно сияло розово-белое, с золотыми проблесками видение, сейчас была тьма. Он протёр глаза, тьма оставалась, будто на глаза легли чёрные бельма. Он испугался, что его поразила слепота. Всматривался что есть силы в чёрную пустоту, в которой растворился монастырь, и постепенно из мрака вновь появилось нежно-золотое, бело-розовое видение. Его страх прошёл. Видимо, на время была отключена подсветка, озаряющая монастырь.

Он почувствовал лёгкое подташнивание, какой-то ком в горле. Ком казался живым. Будто он проглотил мышь, и она шевелилась в горле.

Он пошёл в ванную и лёг в тёплую пену, желая смыть недавние ощущения, которые его тяготили. Он увидел, что змея на груди сохранилась, казалась синеватым отпечатком. Видимо, краска, которой он мазал тело перед походом к церковникам, была едкой и не сразу смывалась. Он тёр себя губкой, и змея пропадала, тонула под розовой кожей.

Ночной интернет затих, кончился обмен оскорблениями, жалобами, комплиментами. Буяны блогеры спали, набираясь сил для предстоящих свирепых атак. Только изредка какой-нибудь ночной безумец вывешивал изображение голой женщины или призрачного, в мертвенном освещении здания или светящийся ночной цветок. Но Веронов чувствовал, как незримо пропитывают интернет тёмные энергии, которые он запустил в мир своей недавней выходкой. Тихая тьма змеёй вползала в мировое пространство, и в горле, мешая глотать, шевелилась живая мышь.

Утром он услышал по радио, что в одной из колоний строгого режима в Псковской области произошёл бунт заключённых. Зэки взяли в заложники несколько охранников. Последовал штурм колонии отрядом спецназа, стрельба, несколько заключённых было убито. Веронов не сомневался, что взрыв, который он произвёл, привёл к восстанию, породил отчаяние среди заключённых, заставил спецназ надавить на спусковые крючки.

Утром пришло электронное письмо от Янгеса. “Больше так не гоняйте по Москве. Мне дорога ваша жизнь. Очередной транш прошёл”.

Веронов не понимал, как Янгес мог уследить за им. Какие тайные соглядатаи расставлены им в местах, где появлялся Веронов. И он решил прекратить эти опасные опыты. Выйти из этой сатанинской игры. Заслониться от зияющей тьмы образами прошлой восхитительной жизни.

Были, были в его жизни мгновения, когда он обожал, благоговел, любил. Когда его душа взрастала, ликовала, собирала чудесную, разлитую в мире красоту. Когда он верил, что этой красотой сотворён мир. Что у мира есть Создатель, любящий, всемогущий, знающий о нём, Веронове, дарующий ему одно чудесное откровение за другим.

Его увлечение молодой аспиранткой — историком Верой Полуниной, зеленоглазой, с очаровательными светлыми локонами, которые он так любил целовать, касаясь губами душистого лица, среди снежной Москвы с оранжевыми фонарями, и она сквозь смех его останавливала: “Ну, подожди. Ну, здесь же люди. Давай уйдём в переулок”. Они гуляли по старым московским улочкам, заходили в храмы, любовались великолепными монастырями. Он говорил ей о городах будущего, о космических поселениях, в которых станут жить лучшие, прилетевшие с земли люди, образуя новое человечество. А она рассказывала ему о русских святых и праведниках, которые населяли

монастыри, и это, по её словам, и были люди русского будущего, а монастыри — космическими поселениями, которые своими алтарями, крестами и чудотворными иконами летели в небесную бесконечность.

Он сделал ей предложение. Они решили пожениться. Отложив женитьбу на осень, решили поехать в Карелию, в глушь, чтобы там, в безлюдье, среди озёр и негасимых зорь, насладиться друг другом.

Лодка колышется. Он вытягивает из озера сеть. Ячея в сверкающей слюде. Серебряные рыбы дрожат, извиваются, сбрасывают солнечные капли. Он смотрит на свою любимую сквозь сверканье сети, трепещущих рыб, и так любит её! Она явилась ему из озёрного блеска, из красных прибрежных сосняков, из синего летнего облака.

Они идут лесами. Красный сосновый жар. Пахнет смолой, муравьиным спиртом. На тропе то и дело попадаются фиолетовые от черничного сока комья медвежьего помёта. Где-то рядом, в черничниках, бродят медведи. Но им обоим не страшно, они идут, взявшись за руки, и в стволах то слева, то справа мерцают озёра. Он целует её, видя, как на стволе длинной тягучей каплей висит золотая смола, и в её волосах запутался листик черники.

Баня на берегу. Ночное озеро чёрно-синее, недвижное. А в бане звон, плеск. Он кидает ковш воды на седые камни. Взрыв, удар раскалённого жара. Она вскрикивает, закрывает лицо. Он в тумане видит её чудесную наготу, гладит её стеклянные плечи. Взмахивает распаренным веником, чтобы её не обжечь, поднимая своими взмахами душистый березовый жар. А потом — вон из бани, по мосткам, с разбега, в тёмное студёное озеро. Она плещется, плывёт в темноте. Он видит, как, белая, она выходит из тёмной воды. И он провожает её из озера обожающим взглядом.

Они поднимаются в гору, красную от подножья к вершине, покрытую дикой клубникой. Подол её белого платья в ягодном соке. Губы сладкие, розовые от клубники. На вершине горы — разрушенная деревянная церковь, серо-серебряная, с рухнувшим куполом. Они достигают вершины, поднимаются на церковное крыльцо. И с горы открывается безбрежная даль, красные боры, синие озёра, с высокой утиной стаей, с застывшим голубым облаком, из которого летит блестящий дождь. И вдруг такой бесшумный удар света, такая любовь к ней, обожаемой, к пролетающим уткам, к дощатой разрушенной церкви, ко всей неоглядной дали, которую подарил ему Господь, и к Господу, незримому и любимому, к которому ввысь в бесконечность стремится его верящая душа, исполненная лучистого света.

Веронов сидел среди ночи в своей московской квартире и чувствовал, как по щекам текут слёзы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Наутро Веронов проснулся свежим, с лёгким сердцем, чувствуя освобождение от бремени. Он избавился от тяжкой обузы, от пагубной страсти, избавился от кабального договора, по которому терял свободу, превращал своё изящное легкомысленное искусство в орудие чужой разрушительной воли. Эта внешняя, воздействующая на него воля была отвергнута. Бодрый, счастливый, он пользовался обретённой свободой. Монастырь за окном в летнем солнце был нежный, женственный, весь в кружевах, как волшебный цветок, от которого исходило сияние и чудное благоухание. Веронов поклонился монастырю, молитвенно, бессловесно, мимолётно подумав о маме, о былой невесте Вере Полуниной, испытав тихую светлую печаль.

Он принял душ и, к своей радости, убедился, что противная змея на груди исчезла, как исчезло недавнее помрачение. Пил кофе, отложив, не читая, газеты, слушая милую Анну Васильевну с её стареющей красотой, розовыми пухлыми щеками и тонкими морщинками над верхней губой. Она казалась ему привлекательной, домашней, доброй, как и всё в этот утренний час обретённой свободы.

— Уж вы на меня не сердитесь, Аркадий Петрович, что я вам скажу. Не будете сердиться?

— На вас невозможно сердиться, Анна Васильевна.

— Я хотела вам сказать... Аркадий Петрович, почему вы не женитесь? Вы такой видный, благородный. На вас, наверное, женщины заглядываются. Столько прекрасных одиноких женщин, которые украсили бы ваш дом. Вы состоятельный человек, вам можно содержать семью. Вам впору иметь детей, чтобы они здесь бегали, шумели. А вы всё один да один. А в одиночестве вам приходят всякие мысли, и вы, как мальчик, шалите. А если бы у вас была семья, была жена, вы бы свои силы, свой ум тратили бы совсем по-другому. На пользу семье, на пользу людям. Вам, Аркадий Петрович, в доме нужна женщина.

— Да у меня уже есть в доме женщина. Это вы, Анна Васильевна. Другой не нужно, — засмеялся Веронов, видя, как смущена Анна Васильевна и уже жалеет, что завела неделикатный разговор.

— А мой Степан Тимофеевич очень меня любил. Я с ним познакомилась, когда он был майором, а ушёл из жизни генералом. И мы всегда были вместе. Он был в Афганистане, а я детей растила. Думала, если его убьют, от него дети останутся, дальше жить будут. Очень он меня любил и не обижал никогда. — Анна Васильевна всхлипнула, отвернулась, и Веронов смотрел, как она прикладывает к своим бледным синим глазам платок.

Его телефон лежал рядом на столе без звука. Иногда начинала трепетать слабая вспышка, кто-то звонил, но Веронов не откликался. Телефон тонкой трубочкой соединял его с внешним миром, и по этой трубочке в его умиротворенный дом мог проникнуть яд, наполнить солнечные комнаты мертвенной мглой, как затмевает солнце пепел далёкого взорвавшегося вулкана. Веронов чувствовал, что в глубине телефона существует чёрная точка. И в этой точке таится взрыв чудовищной силы. От этого взрыва разомкнётся пространство, сгорит время, разверзнется бездна, в которую упадёт его обезумевшая душа. И он старался не смотреть на телефон, не отзывался на настойчивые мерцания. Из телефона дул едва ощутимый сквознячок, словно в нём открылась малая скважина, ведущая в непомерную тьму, где дуют жуткие ветры, гуляют смертоносные вихри, грохочут камнепады. Но из скважины долетал едва ощутимый сквознячок, лизал ему лоб. Было впечатление, что чёрная точка из телефона переместилась на лоб и блуждает, как метина прицела. Он чувствовал, как в нём шевелится живое инородное тело. Он был беременным. В нём разрастался страшный эмбрион, который требовал пищи, яростно трясся, беззвучно орал. И видя, как трепещет в телефоне бледная вспышка, слыша утробный крик невидимого эмбриона, Веронов взял телефон.

— Аркадий Петрович? Это вас беспокоят из Музея Российской армии. Ваш телефон дал нам Илья Фернандович Янгес, член общественного совета.

— Что вам угодно?

— Илья Фернандович рекомендовал вас как видного общественного деятеля и замечательного оратора. Мы открываем в Подмосковье, в селе Петрищево, обновлённый музей Зои Космодемьянской. И хотели бы просить вас выступить на митинге в честь открытия музея. Сейчас, вы знаете, участились нападки определённых людей на героев Великой Отечественной войны. Вы сможете выступить на митинге?

— Дайте мне подумать, — сдавленно ответил Веронов, слыша утробный рык. — Перезвоню через десять минут.

Он испытывал вожделение. Война и Победа были лакомством, на которое желал наброситься утробный зверь. Терзать, хрипеть, поливать ядовитой слюной, слыша бесчисленные стенания, видя, как содрогаются кости в братских могилах, как обессиленно сникают ветераны, меркнет сияние военных парадов, линяет красный цвет победных знамён, поминальное шествие Бессмертного полка тает и гаснет, теряя таинственную мощь воскрешения.

У него появлялся повод сокрушить незыблемую святыню, исторгнуть из миллионов сердец стон и рыдания, вкусить несравненную сладость осквернения, которое породит разрушительный вихрь, и тот сметёт последний оплот государства. Повалятся кремлёвские башни, в ужасе разбегутся войска, и обезумевший народ начнет кромешную бойню.

Его удерживала мысль, что среди братских могил есть одна, в сталинградской степи, где лежит его дед, молодой лейтенант-пулемётчик, добровольцем ушедший на фронт. Смертью своей он продлил слабую струйку рода, текущую через его, Веронова, жизнь. В юности, когда душа была исполнена родовых мечтаний, поисков сокровенных истоков, откуда возник его род, Веронов собирался поехать в Сталинградскую степь и отыскать могилу деда. Положить на неё цветы, почитать стихи, которые хранились в тонких книжицах из дедовской библиотеки, чтобы дед из своей могилы услышал вещие звуки. Но так и не поехал, всё откладывал *на потом* таинственное родовое свидание.

Теперь же ему предлагалось осквернить могилу деда. Чтобы в ужасе встрепенулись его лёгкие кости, и пуля, сразившая его, выскользнула из костей и продолжила свой полёт.

Он смотрел на телефон, и в нём раскрывалась тёмная сосущая бездна, в которую его влекло, и он был бессилен её миновать.

Взял телефон и набрал номер:

— Хорошо, я согласен. Выступлю на митинге.

Его “Бентли” мчалась по Минскому шоссе, среди сверканья встречных и попутных машин. Шоссе казалось голубым, с мелькающими тенями лесов, с внезапным озарением полей, в которых уже витал едва уловимый золотой свет близкой осени. На заднем сидении машины стоял саквояж, в который Веронов поместил сюрприз, приготовленный к выступлению в Петрищево. Его замысел был сокровенным, он не подлежал разглашению, был связан с конспирацией. Веронов, боясь, что его мысли будут угаданы, прятал их, заслонялся легковесными песенками, сумбурными мыслями. Так прячут взрывное устройство в ворох мусора, в груду палой листвы.

На восьмидесятом километре шоссе возвышался памятник Зое Космодемьянской. Высокая, как хрупкий стебель, девушка тянулась вверх, но не туда, где в то далёкое утро над ней качалась петля, а выше, в предзимнее небо, куда готова была улететь её измученная, непокорённая душа. У памятника было людно, у подножья лежали цветы. Стояла полицейская машина с моргающей вспышкой. Проезжавшие автомобили в знак поминовения сигналили, и Веронов, подобно остальным, нажал на сигнал, боясь, что полицейские могут разгадать его замысел.

Деревенька Петрищево, где была казнена партизанка Зоя, являла собой небольшое поселение, дома уже трудно было назвать крестьянскими избами. Они были перестроены, обшиты современными материалами, рядом с ними были гаражи, на них круглились телевизионные тарелки, и обитатели их были не крестьяне, а дачники, быть может, дальние потомки тех, кто пахал здесь и сеял, а в чёрную военную зиму шёл смотреть, как немецкие солдаты вешают измученную девушку.

Кругом было многолюдно, шумно, вдоль улицы стояли машины, из репродукторов звучали военные песни — “Священная война”, “Мы не дрогнем в бою за столицу свою”, “Артиллеристы, Сталин дал приказ”. Было много молодёжи с цветами. Веронов, оставив машину у околицы, захватив саквояж, шёл в многолюдье к единственному, сохранившему вид крестьянской избы дому, тому, который собиралась поджечь Зоя и где располагалась команда немецких солдат. В этой избе всю ночь солдаты измывались над девушкой, из него на рассвете её повели на виселицу.

Перед домом в палисаднике цвели яркие золотые шары, розовели пышные мальвы. Цветы, посаженные заботливой рукой, говорили о красоте, нежности, о любви, превозмогшей смерть, о памяти, одолевшей забвение. Веронов на мгновение залюбовался цветами, испытал печаль, но тут же превратил свои переживания в жёсткую сталь затвора, который вогнал в ствол пулю. Ему предстояло сделать выстрел и поразить малую мишень, от попадания в которую содрогнутся земля и небо.

У палисадника толпились люди, немолодая женщина в платке с круглыми сорочьими глазами рассказывала, должно быть, не в первый раз, пользуясь случаем оказаться в центре внимания:

— Вот отсюда её повели, прямо по снегу, босой, в одной рубахе. А солдаты над ней всю ночь насильничали. А выдал её староста, который

был кулаком, но не выслан. Когда наши пришли, конечно, его расстреляли. И две бабы, тоже из петрищевских, когда Зою вели, они на неё помои вылили. Тоже их расстреляли. А родня их уехала, кто куда, чтобы уйти от позора. А Зою вели вон туда, на тот конец, где уже народ согнали и виселица стояла.

И люди, слушая её, медленно тянулись туда, куда она указала, и девушка, державшая пучок красных гвоздик, положила на землю два цветка, туда, где когда-то ступила босая стопа Зои.

Музей был новый, с крыльцом, обшит нарядным тесом, пах свежей краской. У входа Веронов отыскал человека, который по телефону пригласил его принять участие в торжестве. Угадал его по георгиевской ленточке на лацкане пиджака, по оживлённым жестам распорядителя, по торжествующему лицу устроителя многолюдного действа.

— Аркадий Петрович, вам будет предоставлено слово пятым по счёту. Сначала батюшка прочитает молитву. Потом глава района. Потом от министерства обороны. Потом ветеран. Потом вы. Сейчас осмотрим музей, — и он куда-то исчез, оставив Веронова у крыльца среди почётных гостей.

Священник был в фиолетовой ризе, шитой золотом, синеглазый, с добрым розовощеким лицом. Глава района, в дорогом костюме, смотрел приветливо, но подмечал, все ли видят в нём значительную властную персону. Генерал из министерства был строг, важен, с орденскими колодками, взглядывал из-под бровей жёлтыми ястребиными глазами. Старик-ветеран был с бесцветным измождённым лицом, выцветшими глазами, сутулый, согбенный, увешанный медалями и орденами, которые, казалось, своей тяжестью тянули его к земле. Веронов стоял среди них, сберегая под сердцем свой замысел, боясь выдать себя неосторожным словом или взглядом.

— Прошу в музей. Короткая экскурсия по музею, — позвал всех появившийся распорядитель. — Экскурсовод Вера Спиридоновна, очень коротенько, пожалуйста!

Молодая женщина экскурсовод, свежая, красивая, на высоких каблуках, воодушевлённая своей миссией, вела почётных гостей по музею, устремляя указку к экспонатам.

— Смотрите, вот такая ситуация сложилась к осени сорок первого года на фронте вокруг Москвы. — Указка скользила по карте, где чёрные стрелы фашистских ударов теснили кольцо красной обороны, прижимая его к Кремлю. — Вот места, где в районе Москвы действовали партизаны и отряды НКВД. — Экскурсовод перешла к соседней карте, где красными кружками среди чёрной оккупированной территории были обозначены партизанские центры. — Вот такими бутылками с зажигательной смесью была вооружена Зоя Космодемьянская, проникшая в деревню Петрищево, — экскурсовод, переступая, постукивала модными каблуками. Она волновалась, и румянец с её молодого лица окрашивал шею и перетекал за вырез платья, на открытую грудь. — Так выглядел мундир немецкого солдата сухопутных войск, которые в те дни обосновались в Петрищево, — в стеклянной витрине был выставлен грязно-зелёный мундир с нашивками и крестом. — А это личные вещи Зои Космодемьянской, платье и кофта, которые пожертвовала музею мама Зои и Саши Космодемьянских. Оба они были награждены посмертно Звёздами Героев Советского Союза.

Экскурсовод перешла к большой картине, где изображалась казнь партизанки. Горюющее крестьяне, немецкие кавалеристы, виселица с петлёй, под которой стояла Зоя в белой, испачканной кровью рубашке.

Веронов так внимательно слушал, так сочувственно кивал, так не отрывал глаз от скользящей указки, что экскурсовод, заворожённая его вниманием, обращалась только к нему, искала его глаз, его сочувствия. Веронов же почти не слышал её. Думал, на какие святыни он посягал. Куда нацелен его удар. Победа была могучим реактором, питавшем энергией огромную измученную страну, не позволяя ей померкнуть. В этот реактор был направлен удар Веронова. Взрыв реактора выплеснет непочатую энергию, и реактор, распадаясь, испепелит огромные пространства русской истории.

Из музея направились по улице к месту казни. Здесь посреди деревни росли высокие ели, под ними высилась стела. Почётным гостям раздали гвоздики, и они печально прошагали к подножию стелы и положили на землю цветы. Десантники в голубых беретах с автоматами готовились салютовать. Рядом со стелой стояла небольшая трибуна, темнел стебелёк микрофона.

— Дорогие односельчане, уважаемые гости, разрешите митинг, посвящённый открытию нашего музея, митинг памяти Зои Космодемьянской считать открытым. Батюшка отец Алексей прочитает молитву.

Священник сиял епитрахилью, рокотал баритоном. Прочитал литию и обратился к собравшимся с пасторским словом:

— Зоя Космодемьянская — мученица тех великих и трагических лет. Судя по её фамилии, она была из семьи священников, служивших в церкви Козьмы и Дамиана. Значит, скорее всего, она была крещёной. А если нет, то крестилась кровью, приняв муку за "други своя", за Родину. И я предполагаю, что когда-нибудь наша православная церковь рассмотрит вопрос о её канонизации как мученицы, отдавшей жизнь за Христа, за Христову Победу.

Веронов вдруг испытал панику, желание убежать, но кто-то властный, мощный, поселившийся в нём, остановил его порыв, удержал на трибуне. И Веронов стоял, сжимая саквояж, слушая выступление главы района. Веронов слушал мёртвые слова чиновника, для которого открытие музея было мероприятием. Но под коростой омертвелых слов бушевал неугасимый огонь Победы, энергия таинственного реактора народной судьбы и веры. И этот реактор он собирался взорвать. Думая об этом, он чувствовал жжение в паху, словно туда приложили раскалённый шкворень.

Говорил генерал из министерства обороны, зорко оглядывал народ жёлтыми ястребиными глазами, словно выискивал несогласных. Веронов слушал его казённую речь, готовый проткнуть жестяную оболочку и своим ударом достичь негасимой, огненной плазмы, которой являлась Победа.

Ветерану, когда ему предоставили слово, стало плохо. Он что-то стал говорить, задрожал, закачался, из глаз потекли слёзы, и заботливые люди бережно свели его с трибуны, усадили на скамейку.

— А теперь слово предоставляется видному общественному деятелю, знаменитому художнику Аркадию Петровичу Веронову.

Чувствуя обморочную сладость, какая бывает, когда смотришь в пропасть, готовый рухнуть в неё, лететь в свободном падении, считая ослепительные секунды перед тем, как разбиться, Веронов шагнул к микрофону.

— У нашего народа есть ценности, которые делают нас бессмертным и неповторимым народом. У нас есть бесподобный храм Василия Блаженного, шедевр, в котором русский человек выразил своё представление о Рае, о Царствии Небесном. У нас есть священный Байкал, мировое озеро, сочетающее Россию с миром богов, которые по древнерусским верованиям обитали в реках, лесах, цветах. Байкал — бог русской природы. У нас есть Пушкин, явление космическое. Его Достоевский назвал всемирным, прижимающим к своему русскому сердцу все остальные народы. И у нас есть Победа, величайшее свершение мировой истории, сокрушившее проснувшийся ад. — Веронов чувствовал шаткие секунды, отделяющие его от паденья, сосущее влечение, безумное упоение. — Герои Победы, известные и неизвестные, героиня Зоя Космодемьянская, сберегли не только Советское государство. Они сберегли и новое Государство Российское. Они святые, как сказал отец Алексей. Враги Государства Российского, наследники тех, кто желал сокрушить Советский Союз, делают всё, чтобы умалить и уничтожить Победу. Они обливают Победу грязью. Они пятнают героев. Целая кампания развёрнута против Зои Космодемьянской. Либеральные интеллигенты доказывают, что Зоя не совершила подвиг. Она была пироманка, то есть страдала недугом, заставляющим человека поджигать всё, что увидит. Поэтому она и хотела поджечь дом с немцами. Они клевещут, что Зоя была психически ненормальной, лечилась у психиатра, чем и был вызван её поступок. Что весь её подвиг есть плод советской пропаганды, которая хотела увлечь тысячи молодых людей, что сомневались в справедливости сталинского режима.

Веронов говорил, чувствуя, как что-то приближается, огромное, неудержимое, роковое, что влечёт его в бездну, отравляет мучительной сладостью, сжигает сладострастным огнём.

— Эти исчадия рода людского хотят представить подвиг Зои Космодемьянской как уродливое проявление психической болезни, помноженной на тотальную пропаганду. Но разве это не так? — Веронов стал расстёгивать свой саквояж. — Разве может нормальный человек идти по ночным лесам, чтобы поджечь крестьянскую избу, оставив без крова своих соотечественников? Разве нормальный человек, выдержав ночные пытки, способен бесстрастно босиком стоять на снегу под виселицей и произносить сталинские фальшивые лозунги? Разве не пора положить конец этим сталинским мифам, фальсифицирующим нашу историю?

Веронов извлёк из саквояжа макет виселицы, на которой качалась матерчатая кукла. Показал собравшейся толпе. Достал пузырёк с бензином, вылил на куклу. Запалил зажигалку и поднёс к виселице. Кукла вспыхнула, загорелась, шнур, на котором она висела, лопнул, и горящая кукла упала с трибуны на землю.

Ему показалось, что по всему небу полыхнула слепящая вспышка. Загудела земля, расступилась, открывая бездну. И он летел, восхищённый, самозабвенно закрыв глаза в жутком ликовании, испытывая могущество, власть над землёй и небом, несравненную сладость. Приближался к огненной сердцевине, волшебной, как чёрный бриллиант.

Толпа ошеломлённо молчала. Веронов сошёл с трибуны и пробирался среди людей, распихивая их локтями, а когда выбрался, побежал по деревенской улице к машине, слыша за спиной рыдающий вопль, крики, гул толпы. Раздались автоматные очереди десантников, стрелявших холостыми ему вслед.

Веронов упал в машину. Погнал из деревни. Мчался по шоссе, и ему казалось, что вслед ему несётся с беззвучным криком вставший из могилы отец.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ещё в машине он прочитал на айфоне сообщение Янгеса: “Эффект невероятный. Сейсмографы во всех районах мира зарегистрировали землетрясение. Видимо, так погибали ящеры и оставались жить теплокровные. Вы содействуете естественному отбору, в результате которого выживают сильнейшие. Ваш Дарвин. Транш прошёл”.

Веронов не понимал иносказаний Янгеса. Его разум был сотрясён. Он ещё не пришёл в себя после пережитого, подобного смерти наслаждения, какое испытывает самоубийца, кидаясь на асфальт с небоскрёба. На мгновение ему открывалось упоительное знание об абсолютной смерти, в которой исчезало пространство и время, и бытие прекращалось в чёрной ослепительной вспышке. Как будто совершалось зачатие иного мирозданья. Вспышка длилась мгновение, и когда гасла, начиналась тоска, мука, желание снова и снова переживать это ни с чем не сравнимое состояние — переход из светлого мира в мир абсолютной тьмы.

Он вернулся домой под вечер и стал просматривать “Фейсбук”, который орал, проклинал, рыдал, грозил ему казнью, сулил страшные болезни. С презрением он читал вопли бессмысленных, обездоленных людей, которым не суждено приблизиться к той кромешной бездне, куда он каждый раз спускается, одинокий, бесстрашный, всесильный.

Он отправился в ванную и обнаружил, что змея на груди опять появилась. Её голова подходила к самому горлу, а хвост кончался в области паха. Они была голубоватой, словно татуировка, и кожу жгло от бесчисленных уколов иглы. Он тёр змею, но она не смывалась. Ему казалось, что в горле, в пищеводе, в желудке что-то шевелится, сжимается и разжимается, словно в нём поселилась посторонняя пульсирующая жизнь.

Монастырь за окном не пропал, но утратил свой нежный белоснежно-розовый цвет, напоминавший девичий кружевной наряд. Теперь монастырь

был серо-чёрный, по нему перебегали и гасли тусклые огоньки, какие блуждают по тлеющему полену.

В Веронове тлело жжение. Тёмная муть застилала глаза. Он прислушивался к существу, которое в нём поселилось, и это существо требовало пищи. Этой пищей было то смертельное наслаждение, которое он пережил и пережить которое снова стремился.

Он включил телевизор. Показывали какие-то фестивали песен, скабрезности из жизни актёров, старые советские фильмы о пограничниках и колхозниках. Внезапно передачи прервались на срочное сообщение.

Пассажирский самолёт, летевший в Сирию из России, разбился над Чёрным морем. В самолёте находился хор военных певцов, которые собирались выступить перед российским контингентом, воюющим в Сирии. А также известная своим милосердием доктор, которая спасала раненых детей Донбасса, кормила бомжей на площади Трёх вокзалов, целила людей с дефектами нервной системы. В заявлении говорилось, что все пассажиры погибли. Причиной крушения была ошибка пилотов. Расследование продолжается. Спасатели ловят в море останки.

Веронов помрачённо смотрел на экран, где журналист расспрашивал приморских жителей, свидетелей катастрофы. Представлял поющий хор военных молодцов в парадных мундирах, в фуражках с кокардами, их могучие, наполненные звуком груди, их цветущие лица, которые поглотила пучина. Представлял милое усталое лицо доктора среди обездоленных бомжей, которым она привозила прямо на площадь полевую кухню с горячим бульоном и кашей.

Нет, то была не ошибка пилота. Это он, Веронов, в Петрищеве своим чудовищным святотатством сотряс и землю, и небо, и волна разрушения покатилась по миру, настигла самолёт турбулентным вихрем, швырнула к земле. В тот момент, когда тряпичная кукла горела и падала с виселицы на землю, а толпа ошеломлённо молчала, сокрушающий вихрь понёсся по миру, заматывая в свой смертельный рулон самолёт, направляя его в море.

Журналист расспрашивал жителя приморского посёлка, и тот утверждал, что видел, как с земли к летящему самолёту протянулся прозрачный волнистый след, достиг самолёта, после чего тот стал разваливаться.

Веронов был поражён неизвестным недугом. В нём поселился неведомый гость. На его теле проступали голубые трупные пятна. Он хотел избавиться от недуга. Избавиться от смертельной пагубы. Сбросить иго, которым закабалил его Янгес, таинственный лемур с глазами, из которых брызжут острые, как бритвы, лучи.

Веронов собрал всю свою волю, весь оставшийся здравый смысл, весь остаток духовного здоровья и решил сопротивляться недугу. Излечиться от пагубы.

Утром он отправился в дорогую частную клинику, где решил пройти обследование.

Его пронзали ультразвуком, и, лёжа в полутьме, чувствуя, как липкий щуп скользит по его голому животу, он видел на лунном экране свои почки, печень, предстательную железу, страшась узреть эмбрион, лобастый, пучеглазый, скрюченный. Результат жуткого зачатия. Но все внутренние органы были здоровы, без патологий.

Он настоял, чтобы ему просветили желудок, в котором чувствовал непрерывное шевеление. Давясь, борясь со спазмами, он проглотил гибкую кишку с фонариком и телевизионной камерой, которая рыскала в его утробе, но не обнаружила постороннего тела. Пищевод, желудок, кишечный тракт были здоровы.

Его просвечивали на томографе. Медленно влекли сквозь огромное магнитное кольцо, которое рассекало его тело, как рассекают на тонкие ломти колбасу. Каждый срез являл собой разноцветные круги и овалы, похожие на древесные кольца, в которых откладывались прожитые им годы.

И здесь не обнаружили патологий. Он был здоров. Голубоватая змея на груди, которую он показал врачу, была гематомой. Отпечатком предмета, о который он незаметно ударился.

Ему захотелось увидеть былого друга Фёдора Степанова, с кем работали в космическом институте, проектировали поселения для дальнего Космоса, искали пути в потустороннюю реальность, где царят иные физические и геометрические законы, существуют иные субстанции, с которыми придётся столкнуться человеку в дальнем Космосе. Веронов давно не виделся с другом. Они расстались, когда распалась страна и был закрыт институт, и Веронов, спасаясь от разрухи, уехал в Америку, а Степанов остался на пепелище, пропал из виду среди смуты, нищеты и бессмыслицы. Теперь же Веронов вспомнил о Степанове, об их возвышенных исканиях, восхитительных мечтаниях, надеясь в общении с другом вернуть себе былое духовное здоровье.

Телефон, который сохранился у Веронова, оказался не действителен. И он наугад отправился на Плющиху, где когда-то в старых домах жил Степанов. У жильца, входящего в подъезд, узнал, что Степанов живёт здесь попрежнему, и уже звонил в обшарпанную дверь, на которой ножом было вырезано лучистое солнце.

Дверь открыла молодая женщина, и в неярком свете прихожей Веронову её молодость показалась увядшей, опечаленной, горестной, будто преждевременная хворь выпила её свежесть.

— Вам кого?

— Фёдора Фёдоровича. Он ведь здесь живёт?

— А что вы хотели?

— Я его старый друг, Аркадий Петрович Веронов.

— Да, я вас помню. Я дочь Фёдора Фёдоровича, Людмила. Вы к нам приходили.

В этом увядшем лице Веронов угадал прелестную, цветущую девушку, которая излучала такое обожание, светлую наивность, ожидание чудесной жизни, что Веронов, приходя к другу, обязательно хотел увидеть его дочь, её улыбающиеся нежные губы, бело-розовую свежесть лица, лучистые восхищённые глаза. Но какая-то тьма пролетела над этой девушкой, погасила лучистые глаза, выпила нежную свежесть губ. В её голосе чудились тихие всхлипы.

— А Фёдор? Я могу его увидеть?

— Проходите, — произнесла она и повела Веронова через плохо прибранную прихожую внутрь квартиры, в кабинет Степанова, который так хорошо помнил Веронов.

Из кабинета доносился монотонный металлический стук, словно птица клевала карниз. На мгновение замирала и снова принималась клевать.

В кабинете, куда ступил Веронов, было сумрачно, словно стёкла давно не мыли. Посреди кабинета стояла инвалидная коляска, и в ней сидел Степанов. Он был небрит, волосы седые, нечёсаные. На худых плечах висел поношенный пиджак, а колени накрывал клеенчатый фартук, какие раньше носили мастеровые — жестянщики или точильщики ножей. Он зажал между колен деревянную колодку, на которую было насажено металлическое изделие из белой жести. Степанов молоточком, его заострённым уголком стучал по предмету, оставляя на жести маленькие лунки. В лунку сразу же попадал свет, и капелька света начинала мерцать, и всё изделие звенело, мерцало, трепетало под руками Степанова.

— Что ты делаешь? — спросил Веронов, не здороваясь. Степанов поднял голову, узнал Веронова и не удивился, хотя с последней их встречи прошло двадцать пять лет.

— Видишь ли, простая консервная банка таит в себе бесчисленные формы, которые нужно из неё извлечь. Я подозреваю, что мир в начале своего творения имел цилиндрическую форму. Господь Бог сотворил всё множество последующих форм, раскрывая этот первичный цилиндр. Эвклидова геометрия, геометрия Лобачевского и мир Меньковского — всё это заключено в консервной банке, и нужно научиться их извлекать.

— Ты уподобил себя Господу Богу и создаёшь мир заново?

— Я создаю миры.

Степанов отложил своё мерцающее изделие. Толкнул коляску, подкатил к стене, где стоял прислонённый шест. Поднял его и что-то потянул. Под по-

толком вспыхнули, засверкали, замерцали бесчисленными бриллиантами, серебряными разводами, дивными переливами фантастические, созданные из чеканной жести скульптуры. Конусы, спирали, лучистые звёзды, волшебные бабочки, пернатые дива, сказочные цветы. Они лучились, отражались друг в друге, издавали тихие звоны, плыли, раскачивались. Это было мироздание, которые создал Степанов, извлекая его из старых консервных банок, превращая ненужный сор в великолепие космических кораблей и небесных поселений. Его творящая мысль, мечтающее воображение совершали преображение мёртвой материи в дивную красоту, в райские цветы, в чертоги небожителей. Он плодоносил, рождал эти одушевлённые светила, парящие сады, заоблачные города.

— Здравствуй, Аркаша, — словно очнувшись, произнёс Степанов. — Очень рад твоему приходу.

Он протянул Веронову руку, и тот пожал холодные длинные пальцы, покрытые металлической пудрой.

Веронов смотрел на друга с чувством вины и сострадания. Степанов выглядел человеком, который все эти годы сражался с недугом, не сдавался, но недуг выпивал его силы, делал бесцветным лицо, выгибал и выдавливал надбровные дуги, зажигал в глазах болезненный металлический блеск.

— Как ты жил, Федя? Твоя дочь так повзрослела.

— Жил, как в тумане, Аркаша. Институт разорили, он ещё умирал несколько лет, и я умирал вместе с ним. Жена от меня ушла — кому нужны мои копейки? Дочь вышла замуж, родила, но ребёнок умер, а муж сбежал. Теперь живём вместе. Несколько лет назад упал и сломал шейку бедра. Теперь в коляске. Называю её луноходом. Вот и вся моя жизнь, Аркаша.

— Скажи, а как сложилась судьба Философова?

В их группе он занимался русской поэзией, “серебряным веком”. Считал, что русская поэзия — световод, соединяющий Россию с Царствием Небесным. В русской поэзии зарождается будущее человечества.

— Леонид не вынес разгром института. Спился. Как-то звонил мне, совершенно невменяемый. Читал стихи Мандельштама вперемежку с матом.

— А Букашка?

Коля Букашкин собирался на Северный полюс. Считал, что на Северном полюсе находится пуповина, соединяющая землю с другими мирами. Через эту пуповину можно проникнуть в иные миры, обнаружить новые законы Вселенной. Говорил, кто владеет полюсом, владеет мирозданьем. Россия владеет полюсом, а значит, владеет мирозданьем.

— Букашка, когда всё уже рухнуло, и все программы закрылись, всё-таки отправился на Северный полюс, на собственные деньги, без сопровождения, без навигации и надёжной радиосвязи. И уже не вернулся, пропал во льдах. В последней радиограмме он сообщал: “Вижу! Вижу!” А что он увидел, осталось неизвестным. Может, он улетел через пуповину в Мироздание? — горько усмехнулся Степанов.

— А Лунько?

Лунько верил, что радиация может активизировать спящие участки мозга, и разбуженный мозг преодолеет существующую ограниченность разума, и человек постигнет непостижимое, объяснит необъяснимое.

— Лунько отправился в Семипалатинск, на ядерный полигон, который к тому времени был уже закрыт. У него не было надлежащих средств защиты. Он проник в штольню, в центр горы, где перед этим произошёл ядерный взрыв. Провёл там неделю, получил дозу радиации и умер от лучевой болезни. Он мне показывал снимки, которые сделал в горе. Это фантастические, разноцветные, стеклянные залы, хрустальные люстры, волшебные своды, радужные колонны. Как в сказах Бажова. Где-то фотографии у меня сохранились.

Веронов вдруг испытал слёзную печаль, нежность, обожание к тому прекрасному времени, кода все они, фантасты и мечтатели, в предчувствии небывалых открытий, чудесных преображений, ждали, что явится на земле новое молодое человечество, избавленное от пагуб, невежества, и все они, художники, мыслители, фантазёры, были предтечи этого нового человечества.

— А помнишь Памир?

На Памир они отправились, чтобы там, в горах, уловить летящую из неба частицу, которая пронзит разум и хотя бы на мгновение соединит его с мирозданием, и тогда откроются истинные законы Вселенной, образ мира, каким он был задуман в первые дни творения...

— Помню, конечно, помню, — отозвался Степанов, и его пергаментное лицо слегка порозовело, словно к нему стала возвращаться молодость. — Мы сидели на горе под звёздами.

Веронов помнил, как со Степановым они уходили из весенней долины в горы, облачившись в телогрейки и вязаные шапки. В долине розовел готовый к цветению сад, стеклянные стволы с набухшими бутонами. Горы перед заходом солнца меняли цвет, становились золотыми, изумрудными, алыми. Начинали пламенеть и гасли, словно на вершинах рассаживались бестелесные духи и зажигали волшебные фонари. Сидели в ночи среди студёных ароматов невидимых горных цветов, ручьёв, ледников, над которыми горели звёзды — белые, ледяные, пылающие, — кружили над их головами медленные хороводы. И они зачарованно смотрели на звёзды, наблюдая, как пробегают по небу едва различимые радуги, словно кто-то восхитительный, невесомый шёл через звёздные миры. Им казалось, они слышат летящую из мироздания весть, мироздание откликается на их молитвы и зовы. И вдруг из тёмной глубины небес посыпались звёзды — золотые, голубые, розовые, — оставляя гаснущие следы. Это был божественный ответ на их упования. Их верящий, любящий разум сочетался с красотой и бессмертием. Под утро они спустились в долину, и сад расцвёл благоухающим пышным облаком, словно звёзды превратились в цветы.

— Боже мой, Боже мой! — тихо произнёс Веронов.

— Я был инженером, Аркаша. Был математиком, антропологом, создателем космической психологии, исследующей резервные способности мозга, парящего в открытом космосе. Но теперь я домашний чародей. Шаман в инвалидной коляске. Мне приносят с помоек консервные банки, я их отмываю, очищаю, спасаю от смерти, от уродства, и из этих искалеченных банок создаю космические города. Ты знаешь, почему мир не погиб? Потому, Аркаша, что мать испытывает нежность к своему новорождённому младенцу. Потому что старик любуется цветком, который распустился на клумбе. Потому что прихожанин бросил копейку нищему перед храмом. Этих малых проявлений милосердия и добра достаточно, чтобы уравновесить мировое зло, запечатать его, удержать в чёрных катакомбах души, откуда оно рвётся в мир. Я сижу в инвалидной коляске, Аркаша, стучу молоточком в консервные банки и запечатываю зло.

— Как запечатываешь? — Веронов с состраданием смотрел на болезненную улыбку Степанова, на дрожащие в счастливом безумии глаза. — Как ты запечатываешь зло?

— Помнишь, когда злоумышленники взорвали на Байконуре ракету “Энергия” и челнок “Буран”, отсекли Россию от марсианского проекта, я создал этот космический цветок, и чертежи “Энергии” и “Бурана” сохранились для будущего. — Степанов воздел шест и тронул серебряное соцветие, мерцавшее под потолком драгоценными лепестками, и оно закачалось, издавая тихие звоны.

— Когда потонул “Курск”, и все кругом рыдали, и казалось, что смерть лодки означает окончательную смерть государства, которое утонуло в пучине, я создал этот поднебесный корабль, космический “Курск”, и народное отчаянье и горе сменились стоицизмом, который впоследствии позволил России построить великие лодки “Бореи”, — Степанов коснулся шестом мерцающего дива, похожего на волшебную рыбу, от которой расходились прозрачные волны света, лилась музыка космических глубин.

— Когда случился теракт в Беслане, и сотни детских душ улетали из обугленной окровавленной школы, и вся Россия безутешно рыдала, я создал космическую птицу, на которой детские души улетели в Небесное Царство, где нет смерти и зла, а вечная жизнь и любовь. — Степанов потревожил

шестом серебряную пернатую голубицу, и она заволновалась, засветилась, окружённая серебряными нимбами.

— Так было каждый раз. Когда в Грозном погибла от гранатомётов Майкопская бригада, и началась гибельная для России война. Или когда танки стреляли по Белому Дому, и начиналась новая гражданская. Или когда толпы шли с Болотной площади на Кремль, и была готова пролиться кровь. Я стучал моим молоточком, словно шаман, бьющий в бубен, и заговаривал зло, запечатывал его, и в моём поднебесном соцветии появлялся ещё один цветок, взлетал ещё один космический корабль. Всё, что ты видишь. — Степанов указал на парящие светила, — это запечатанное зло. Ловушка, куда я заманиваю зло и запечатываю семью печатями.

— Значит, все мы обязаны тебе тем, что ещё живы? — усмехнулся Веронов, испытывая тайное раздражение. — Значит, ты нашёл ключ к управлению миром? Отсюда, из своей инвалидной коляски управляешь историей?

— После того, как мы потеряли Родину, потеряли Космос, потеряли смысл и надежду, народ умер и лёг во гроб. Но потом он очнулся, сначала открыл глаза, шевельнул плечом, встал и пошёл. И это потому, что кто-то подобрал растоптанный цветок, принял в дом сироту, не стал лжесвидетелем. Малые, незримые миру подвиги, неслышные миру молитвы расколдовали народ, подняли его из гроба. И вот вернулся Крым, восстал русский Донбасс, пошла ввысь первая лунная ракета. Одни творят зло, распечатывают тьму. Другие орошают жизнь крохотными каплями живой воды, и жизнь продолжается.

Степанов говорил дрожащими улыбающимися губами, высказывая сокровенные мысли, словно боялся, что сейчас дунет ветер и сорвёт с губ робкие слова. Веронов чувствовал, как растёт в нём раздражение, закипает едкое негодование, неприязнь к Степанову.

— Выходит, что мы с тобой противоборствуем в этом мире? Я распечатываю зло, а ты вновь навешиваешь на него печать? Я впрыскиваю в мир яды, а ты орошаешь живой водой заражённый моими ядами мир?

— Выходит, что так, Аркаша. Я слежу за твоими деяниями. Твои деяния влекут за собой катастрофы. Разбиваются поезда, падают самолёты. Ты толкаешь мир к погибели, и он погибнет, если кто-нибудь не пожертвует собой ради его сбережения.

Веронов чувствовал, как клубится вокруг тьма, шатается земля, распадаются молекулы, раскрывается в душе клокочущая бездна, куда он вот-вот провалится.

— Ты — герой помоек! Дурной жестянщик! Уродливый неудачник! Ты убогий инвалид, и всё, что тебя окружает, жалкое, болезненное и ничтожное! И твои жестяные уродцы, и твоя коляска, и твоя хворая бесцветная дочь!

Веронов чувствовал, как слепая ненависть скручивает его в узел. Как грохочут вокруг невидимые барабаны. Трещат оглушительные трещотки. Это ломалась земная кора, грохотал камнепад. Он схватил шест, прислонённый к стене. Ударил им по космическим кораблям, небесным рыбам и райским птицам, осыпая их и растаптывая. С силой толкнул коляску, которая отскочила, упала набок, и Степанов болтался в ней, беспомощно тряс руками. Выскочил в коридор мимо испуганной женщины и с хриплым клёкотом, то ли со смехом, то ли с рыданием, выбежал из подъезда.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Он гнал по Москве, а ему казалось, он летит в пустоте, оставленной взрывом. От него разбегались дома, шарахались машины, отлетали храмы. Посреди Москвы образовалась воронка, которая затягивалась, мелела, выдавливала его на поверхность из бездны, где он только что побывал.

Он пытался продлить пережитые ощущения, вызвать в душе безумную сладость, восхитительную боль, вспышку чёрного света, что ослепила его, лишила рассудка и воли, отдала во власть громадной повелевающей силе,

сделала его всемогущим, открыла неведомые миры. А потом погасла, оставив по себе изумление, чувство невыносимого одиночества, страстное желание повторить вспышку, испытать ни с чем не сравнимую боль и сладость. Но они не повторялись, сладость и боль стихали, оставляя в душе ядовитую муть. И он гнал по Москве, желая ударить машину в каменную преграду, чтобы в смерти повторилась вспышка несказанного чёрного счастья.

Дома он кинулся к телевизору. В Петербурге в метро произошёл террористический акт. Репортёр, прижимая к губам набалдашник микрофона с надписью "Россия", взволнованным голосом перечислял число убитых и раненых. Мелькали кадры изувеченных вагонов, залитые кровью лица, рыхлые, завалившие перрон трупы. Звучали какие-то невнятные сводки, о каком-то портфеле, каком-то киргизе, о безоболочном взрывном устройстве, о гайках и гвоздях. И снова — набалдашник с надписью "Россия".

Веронов жадно внимал, впивал этот задыхающийся голос репортёра, эти кадры взорванных вагонов и убитых людей. Какой там киргиз! Какой там эмигрант! Это он, Веронов, своим жестоким волшебством подорвал поезд. Он, толкнув инвалидную коляску Степанова, расплющил вагоны метро, растерзал пассажиров.

Веронов записал репортаж и повторял его ещё и ещё раз, надеясь на повторение вспышки. Вспышки не было. Под черепом, стискивая мозг, раскалялся железный обруч, и эта боль было подобием той, которую он выкликал.

Ночью он спал с открытыми глазами. Существо, что в нём поселилось, не выдавало себя. Не дергалось, не билось в утробе. Но оно было внутри. Веронов чувствовал его тяжесть. Он был беременным, на сносях. И живущий в нём младенец покрылся шерстью, и на маленьких ножках выросли нежные копытца.

Утром позвонили. На сей раз по рекомендации Янгеса пригласили в общество ветеранов КГБ. Оно находилось в Замоскворечье, на берегу канала, в бело-жёлтом ампирном особняке с окнами на набережную. Здесь награждали стариков с гранёными лицами, словно их рисовали кубисты. Тяжелыми вмятинами, словно следами ударов. Суровыми лбами и тяжёлыми взглядами. На всех были застёгнутые пиджаки и тёмные галстуки. Некоторые выложили на стол костлявые пятерни, перевитые фиолетовыми венами. Длинные речи повествовали об их подвигах. Первым награждали генерал-лейтенанта Лодейникова. Веронов не верил своим ушам:

— Андрей Анатольевич выполнял ответственные задания руководства, имел дело с лучшими умами нашего общества, которые тогда именовались инакомыслящими, диссидентами, но были драгоценным достоянием государства и готовили перемены, которые были бы невозможны без нашего с вами участия. Без вашего участия, товарищ генерал. Мы знаем, как бережно вы обошлись с гением нашего времени академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым, спрятали его от травли, предоставив квартиру в Нижнем Новгороде. За это он был благодарен вам до самой своей смерти. Как виртуозно вы провели операцию по переброске Александра Исаевича Солженицына в Америку, где он, вдалеке от злобных недоброжелателей, мог продолжить своё великое творчество и подарил нам много замечательных произведений. За ваши заслуги перед народом, перед русской наукой и культурой, мы награждаем вас, Андрей Анатольевич, орденом "Бриллиантовая звезда".

Следующим был генерал-майор Черных:

— Его заслуги высоко оценены руководством. Его ум и бесстрашие проявились в момент объединения обеих Германий. Вы знаете, что спецслужбы ГДР противились объединению, готовили восстание. Но благодаря выдержке Никиты Викторовича, который рисковал жизнью, удалось предотвратить восстание, и две Германии объединились без кровопролития. Честь вам, Никита Викторович!

Это были члены рабочей артели, которая без устали трудилась среди не ведающего о них разношёрстного своевольного человечества, выстраивая его в колонны, направляя маршем в историю. Чистки, расстрелы, политические процессы, устранения неугодных политиков, проникновение в секретные центры врага... Они протаптывали тропы, которые потом превращались в до-

роги, и по ним катилась история. Они были первопроходцами, и если они надрывались или сбивались с пути, то исчезали бесследно. И их исчезновение никто не оплакивал, на их месте тотчас появлялись другие.

Веронов смотрел на этих железных стариков, похожих на арматуру, на которой держалось государство.

Третьим награждали генерал-полковника Шайгенра:

— Артур Миронович выполнял самые деликатные поручения нашего руководства. С ними не справился бы никто другой. Он, если так можно выразиться, переводил состав нашего государства с одной колеи на другую, на европейскую. Его нелегальная работа в Америке. Его связи с политической элитой Израиля. Его участие в создании общественных движений и политических партий в период перестройки. Его огромные заслуги в создании Еврейского конгресса России. Его формирование Народных фронтов в Прибалтике и Закавказье. Если бы не филигранная работа Артура Мироновича, неизвестно, сколько катастроф и аварий претерпел бы состав нашего государства, переходя на новый путь. Вам, товарищ генерал-полковник, присуждается орден "Грозное око". Редко кому из наших соратников выпадает подобная награда.

Все аплодировали, и в хлопках слышался сухой металлический хруст, словно хлопающие руки были железные.

— А теперь, друзья, прежде чем мы перейдём в соседнюю комнату, где нас ждёт фуршет, и мы звоном бокалов сможем ещё раз поздравить наших награждённых соратников, я хочу представить вам известного художника Аркадия Веронова, чьё искусство доступно пониманию лишь немногих. Как, впрочем, и наше. Мы с вами тоже показывали фокусы, от которых одни смеялись, а другие плакали. Прошу, Аркадий Петрович!

Веронов поставил перед собой на стол клеенчатую сумку. Ветераны смотрели недвижно, словно статуи.

— Я вас приветствую и выражаю вам моё преклонение. Вы особые люди, отлитые из чистейшей стали. Особая порода драгоценных самоцветов. Вы, как говорили в старые времена, "рыцари без страха и упрека". А товарищ Сталин называл вас "Орден меченосцев". Вы государственники, слуги Отечества, его хранители и стражи. Вашими трудами, жертвами и умениями сберегалось и сберегается государство. Вы защищали государство от врагов. Вы вдохновляли народ на труды. Вы мобилизовали учёных на создание атомного оружия, которое спасло нас от гибели. Вы лучшие из лучших. Я преклоняюсь. — Веронов поклонился. Ветераны, как каменные изваяния, молчали. Блестели на чёрных пиджаках бриллиантовая звезда, червонный крест, всевидящее око.

Веронов чувствовал, как в нём закипает таинственная буря, поднимается далёкий вихрь, начинают звучать едва различимые гулы. Каменные истуканы мертвенно взирали пустыми глазницами. Их гранёные лица, казалось, однажды застыли и больше не пробуждались, хранили окаменелое время.

— Вы лучшие из лучших. У вас горячее сердце, холодный ум и чистые руки. Этими руками вы подняли Россию на дыбу и жгли, хлестали, и она весь двадцатый век провисела на дыбе. Вы сдирали кожу с лучших людей, творцов и героев. Ставили к стенке, стреляли в затылок. Вы герои застенков, рыцари расстрельных рвов, гении доносов и клеветнических наветов. Вас ненавидит народ.

Веронов заметил, как зашевелились каменные изваяния, разлепились их синие губы, затрепетали фиолетовые жилы на костистых руках.

— Вас будут проклинать миллионы людей через миллионы лет. Вы, предатели, разрушили великую страну. Продали врагу великий народ, предали Победу. Вы объединили Германию, поправ жертвы народа и обрекая нас на новую войну, которая уже грядёт. Вы подтачивали Советский Союз, помогая его врагам, и сами были его врагами. Когда несчастная страна пала, вы набросились на её труп и стали его рвать. Вы все перешли работать в банки, пошли в услужение к тем, кого прежде высылали из страны. Вы пустили в Россию врагов и чужих разведчиков. Вы и теперь толкаете Россию в пропасть. Покайтесь, ехидны! Я принёс вам подарок! Это вам, кавалеры звезды и креста, вам кавалеры лобного ока! — Веронов расстегнул клеенчатую

сумку и с грохотом вывалил на стол окровавленные кости, которые утром купил в мясных рядах. — Это кости Мандельштама! Кости Тухачевского! Кости Вавилова! Их миллионы, и все они к вам придут. Лягут с вами в постель, лягут с вами в гроб. Будьте прокляты!

Он терял сознание, испытывал небывалую сладость, проваливался в бездонный колодец, который вёл в бесконечную тьму. Тьма сгущалась, и кто-то невидимый, восхитительный, властелин мира, ждал его к себе, обнимал сладострастной тьмой.

Слыша за спиной стариковский кашель, хриплые вопли, крики "Арестуйте его!", Веронов выскочил из особняка. Упал в машину, продолжая хохотать, и понёсся по набережной.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В нём ещё ревели чёрные пространства, в которых он побывал, испытывая неутолимую сладость, когда, вернувшись домой, он включил телевизор. Сюжет уголовной хроники повествовал о чудовищном убийстве, случившемся в тверской деревне. Человек из охотничьего ружья застрелил жену и двоих детей, один из которых был грудным. Отправился в соседнюю избу, где жили его тёща и тесть. Застрелил их. Убил их корову, перестрелял кур. Вернулся домой, поджёг свою избу, где сгорел сам вместе с убитыми. Камера показывала бедную деревню, покосившиеся заборы, какую-то рыдающую старуху, дымящиеся остатки избы.

Веронов понимал, что погибает. Надо было спасаться. К врачам он уже ходил. В церковь к священнику его не пускало его неверие. К загадочному колдуну Янгесу, который его закабалил, он не решался идти. Он хотел найти человека, который бы обнял его, пожалел, выслушал его горькую исповедь, одарил своим теплом, красотой. И таким человеком была его прежняя невеста Вера Полунина.

Он не знал её телефона, но в интернете нашёл фотографию, краткую справку, электронный адрес. Доктор исторических наук, множество трудов, несколько книг по истории русской исторической мысли с древности до наших дней. Он жадно вглядывался в её лицо, не изменившееся, чуть пополневшее, всё с теми же зелёными глазами и мягким ртом, в котором ему чудилось утомление и печаль.

Он послал ей на электронную почту письмо:

"Если можешь, откликнись. Если не сочтёшь моё обращение слишком запоздалым и ненужным, давай встретимся. А нет, то забудь".

Он ждал ответа, то и дело заглядывая в почту. К вечеру прозвенел тихий звонок. То был её ответ:

"Давай повидаемся. Вот мой телефон".

Они условились встретиться на другой день, в ресторане "Живаго", что выходил окнами на Кремль. Он сидел в излюбленном месте именитой московской публики. То кивал проходившему мимо политику, который всем улыбался, надеясь, что его узнают. То отводил глаза от модного режиссёра, который был геем и ставил спектакли с мужчинами в женских ролях. Ждал её, Веру.

Она появилась в дверях, в строгом тёмно-синем костюме, светлые волосы уложены в дорогой парикмахерской. Лицо казалось родным и любимым, так что заныло, запело в груди, и на секунду свет вокруг неё задрожал, словно это был мираж.

Веронов поднялся, шагнул к ней, как будто шагнул в чудесное прошлое, когда он встречал её у подъезда дома у Самотёки, и они шли, плутали по бульвару, который благоухал палой листвой, и бронзовый памятник Толбухину, омытый дождём, был словно из чёрного стекла.

— Здравствуй, Вера.

— Здравствуй, Аркаша.

Они бегло, пугливо осматривали друг друга, словно убеждались в подлинности встречи.

Пили вино, и он смотрел на её милое, дорогое лицо, на котором лежали тени прожитых лет. Между пушистыми бровями пролегла едва заметная складка, будто она часто хмурила брови.

— Как ты жила? Прости, это глупый вопрос. Ты замужем?

— Я не была. А ты?

— Я один.

За окном переливалась, шелестела Москва. Розовела зубчатая стена, и над ней возвышался янтарный дворец. Веронову казалось, что их столик окружён прозрачным свечением, сквозь которое не проникает ресторанный гвалт, звон посуды, мелькание официантов.

— Боже мой! — сказала она.

И как будто пахнул ветер, колыхнул невидимый занавес, открывая окно в исчезнувшее драгоценное прошлое, где они целовались, и она говорила: “Голуби смотрят, не надо”, — где на сырой скамейке он целовал её шею, грудь, её дышащий живот, и такая сладость и боль, такое обожание и нежность, такая неразрывная связь навеки связывала их среди этой благоухающей осени…

Теперь, спустя столько лет, они сидели в иной жизни, в ином городе, и она своими зелёными усталыми глазами угадывала его воспоминания, сливала их со своими. Вечеринки у каких-то шальных поэтов и художников, Центральный дом литераторов, где Михалков поцеловал ей руку, бесконечные улицы Москвы, по которым они ходили. Но неизбежно воспоминания приводили их к тому озеру в Карелии.

— Ты помнишь, каким было озеро? — спросила Вера. — Розовое на вечерней заре, тихое и серебряное белой ночью, бирюзовое по утрам. И над ним всё время летали гагары.

— А помнишь эту песчаную дорогу вокруг озера в сосняках? — отозвался Аркадий. — Сосновые стволы были красные, а дорога пахла рыбой, потому что по ней проехали подводы с рыбным уловом.

— А помнишь, в сенях стояла большая деревянная кадка с мочёной брусникой, и ты ночью посылал меня к этой кадке, чтобы я принесла тебе бруснику, а я так боялась спускаться с нашего чердака. Вдруг попадётся мышь.

— Хозяева уже спали в избе, а я слышал, как ты идёшь в сенях босыми ногами, как хлюпает кружка, черпая брусничный сок, а потом ты осторожно возвращалась с полной кружкой, и под твоими ногами тихо поскрипывала лестница.

— А помнишь, как ты с лесником сажал лес. Лесник Степан вёл под уздцы лошадь, ты шёл следом с плугом, вёл борозду, а я бросала горсти сосновых семян, видела, как на твоей спине потемнела от пота рубаха.

— Теперь там, должно быть, лес. В соснах белки, птичьи гнёзда. Под соснами грибы, медведи ходят.

Они замолчали, блаженно улыбаясь, словно видели озеро, по которому плыла лодка, оставляя стеклянный след, и в оконце на их чердаке, в сумерках появлялись маленькие паучки и учиняли таинственный танец, и всходила над лесами луна, огромная, жёлтая, оставляя на озере золотую дорогу, которая подходила к деревянным мосткам, и они кидались с мостков в это золото, и он видел, как блестят под луной её голые печи, как взлетают от её рук золотые брызги, и он обнимал её, прижимал к себе её чудное тело, а потом они шли в избу, опускались на своё шелестящее сеном ложе, в изнеможении лежали, слыша, как поднимается ветер и начинается танец ночных паучков.

— Почему ты тогда уехал? Почему меня бросил? Это было так ужасно! — горестно воскликнула она, и тёмная ложбинка между её пушистых бровей стала заметной. — Что случилось с тобой?

Был знойный слепящий день, суливший грозу. Озеро тускло блестело. Вера с мостков стирала рубахи, стелила их на траве. На зелени белые, красные и голубые, они лежали, раскинув рукава, и ему было тревожно смотреть на этот хоровод танцующих на траве рубах с пустыми рукавами.

Он шёл по деревне, чувствуя, как печёт непокрытую голову. В соседней избе хозяйка с внуками собиралась в лес за черникой. Они стояли

с корзинами, укутанные в ткани, перед тем, как погрузиться в смоляной, комариный жар леса. Веронову была неприятна мысль о лесной духоте, комариных укусах, липком поте.

На дворе соседнего дома лесник Степан строил лодку. Еловый комель с выгнутым корнем был закреплён на козлах. Лесник рубанком строгал доску, снимал завитки стружек и, увлечённый работой, не ответил на приветствие Веронова. И это неприятно задело его. На обочине из песка виднелся валун, в розовом граните поблескивала слюда. У камня лежала узкая кромка тени, и вид этого камня, сухие блестки слюды, кромка тени почему-то испугали Веронова, и он поспешил пройти мимо камня.

Поодаль, полузасыпанное песком, лежало старое тележное колесо с поломанными спицами и ржавым ободом. Седое, растресканное дерево спиц, коричневый ржавый обод породили в нём тоску, унылую безнадёжность, он почувствовал бессмысленность бытия, в котором всё бренно, тускло, обречено на исчезновение под этим серым песком.

У крайнего дома на пряслах сохла медвежья шкура. Она висела мездрой наружу, отороченная жёстким синеватым мехом. Белая мездра была в кровавых прожилках, на ней виднелась дыра от пули, сквозь которую пробивался мех. На мездре, ещё влажной, сидели большие зелёные мухи. И вид этой сохнувшей шкуры, мысль о медведе, который недавно бродил в красных борах и лакомился черникой, оставляя синие горки помета, эта мысль породила невыносимую тоску, бессилие, непонимание этой жизни. Как будто на солнце набегала тусклая мгла, и всё вокруг было никчёмно, ненужно, угнетало его. И лежащие на траве рубахи, и лицо соседки-карелки, замотанной в платок, и упрямое тупое скольжение рубанка по доске, и забытый Богом придорожный камень, и треснувшее колесо, и этот убитый зверь, которого смерть вырвала из леса, и он, покидая лес, черничники, муравейники, ревел от предсмертной боли. И Вера, эта женщина, с которой он обещал соединить свою жизнь, была чужой, неинтересной, ненужной, обрекающей его на изнурительные совместные годы.

Веронова посетило помрачение. Хлынула тусклая мгла. Он качался, как на качелях, готовый упасть. Сходя с ума, спасаясь от своего безумия, он кинулся по дороге, сквозь лес, прочь от деревни. Сначала бежал, потом шёл, задыхаясь, пока его не догнал допотопный автобус, и он катил среди горячего скрипа, туда, к железной дороге, чтобы больше никогда не вернуться.

В Москве случились жуткие события августа. Ломалась страна, обломки свалились ему на голову, и он, спасаясь от этих обломков, от безумия, охватившего страну, уехал в Америку. Отправил оттуда Вере письмо, в котором писал, что им не надо встречаться, они несовместимы, чужие. И забыл о ней, не получив ответа.

Но теперь он видел её милое, исстрадавшееся, любимое лицо и жаловался, умолял о прощении.

— Вера, любимая, прости! Я не помнил себя! Это было безумие! Кто-то вселился в меня! Тот убитый медведь, он вселился, и с тех пор живёт во мне! Во мне живёт зверь! Мне худо, я болен, я погибаю! Прости, приголубь, исцели! Ты одна, только одна! Наше озеро! Летела гагара! Эти крохотные, звенящие о стекло паучки! Мы смотрели, как летят утки и садятся в осоку, и тот тёплый дождь, который звенел по воде, а мы на лодке ловили рыбу, ты выхватила из воды серебряную рыбину, она трепетала в воздухе, а ты не могла её поймать! Поедем в Карелию, к нашему озеру. Начнём всё сначала, с той минуты, когда всё оборвалось! Я не могу без тебя, я погибну! — Он целовал её руку, чувствовал, как бегут по лицу слёзы. Видел, какие блестящие, переполненные слезами глаза у неё.

— Да, Аркаша, да, поедем к нашему озеру! Начнём с той минуты, когда всё прервалось. Это злой дух. Мы победим злой дух! Я все эти годы любила тебя! — Она не отнимала руки, которую он целовал. — В нас ещё много сил, много жизни! У нас будет семья. Как знать, быть может, у нас родится ребёнок!

Веронов чувствовал, как из глаз бегут слёзы, как её рука скользит по его волосам. Но что-то в нём дрогнуло и сместилось. Сквозь слёзы он видел

деревенскую улицу, дрожащий жар и мелкие искры слюды на камне, трещины в разломанных спицах и этот упорный, тупой хруст рубанка.

— Я не знала твоего адреса, но писала тебе. Писала письма и не отсылала. У меня целая шкатулка написанных тебе писем!

Стеклянные пузыри жаркого воздуха налетают на него, разбиваются о грудь, о лицо. Он пытается спастись, удержаться на качелях, которые раскачивают его по дуге над провалом, в который он вот-вот упадёт.

— Нам будет с тобой прекрасно! Мы созданы друг для друга. Мы прошли испытание. Любящие люди должны проходить испытания. Ты мой милый, любимый!

Он чувствовал, как набухает в нём сердце, как сипит в горле, как ядовитый огонь вырывается из-под языка. Невидимый зверь, косматый медведь поднимается на дыбы и идёт, раскрыв косматые когтистые лапы.

— Ненавижу тебя! Никогда не любил! Ты пустая, ненужная, отвратительная! Прощай! Мы больше никогда не увидимся! И не смей меня искать! Слышишь, не смей искать! — Он вскочил из-за стола, видя её потрясённое лицо. Выхватил две красных купюры, швырнул на стол:

— Официант, вот деньги! — расталкивая люд, кинулся к дверям. Вынесся, рыдая, на площадь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тьма, которая вырвалась в ресторане “Живаго”, породила аварию на химическом комбинате, где были разрушены ёмкости с хлором. Ядовитые газы и жидкости хлынули по окрестным полям, попали в питьевую воду, отравили города и посёлки. Людей тысячами увозили из зоны бедствия. Веронов смотрел, как на экране орудуют солдаты в масках, катят санитарные машины, на носилках лежат недвижные тела. Эта тьма вырвалась из чёрного рта кричащей, когда-то любимой женщины, из её потемневших от ужаса глаз, из гранитного валуна, что по-прежнему лежит на обочине в далёкой деревне, из медвежьей шкуры с кровавой дырой от пули, которая застряла где-то под сердцем Веронова.

Он звонил несколько раз к Янгесу, желая порвать с ним, сбросить это иго, эту необъяснимую колдовскую связь. Но секретарша отвечала, что Илья Фернандович уехал на несколько дней и скоро будет.

Веронов обращал свою память вспять, стараясь в прошлом отыскать тот момент, когда в него влетело ядовитое семя, оплодотворилось и стало превращаться в ненасытный плод, превращая его самого в чудовище.

Тот случай в Капли, когда он увидел медвежью шкуру с кровавой дырой и в помрачении бежал... Тогда он почувствовал приближение раскалённой тьмы, но избежал её, лишь обжёгся.

Или в метро, на “Площади Революции”, среди бронзовых солдат и матросов, он смотрел на блестящие рельсы, слышал плотный набегающий из тоннеля гул, и его неудержимо тянуло на эти рельсы, чтобы острые, как ножи, колёса резанули его, перемололи хрустящие кости, разбрызгали кровавую мякоть. Он удержался, видя, как подкатывает в лучах и блеске головной вагон. Шатаясь, ушёл из метро, мимо бронзового с винтовкой солдата.

Или позднее, в Кремле, во время Съезда художников, когда в торжественном зале были расставлены банкетные столы, звенели бокалы, люди обнимались и чокались. За парадным столом президиума академик, седой, румяный, с лицом благожелательного властелина, стоял в окружении высоких чиновников. И в Веронове возникла безумная мысль, неодолимое желание подойти и плеснуть вино в это холёное породистое лицо, услышать изумлённый вопль. Он взял бокал и пошёл к президиуму. Остановился на полпути, одолев помрачение.

Нет, не тогда его ужалила тьма, впрыснула ядовитое семя. Всё это было приближение тьмы, от которой он уклонялся.

Он был далёк от политики. Но когда вдруг, подобно ливню, обрушилась перестройка, он словно очнулся. Кругом всё валилось и падало, умирало

время, рушилась страна. Так в период каменноугольных хвощей и папоротников исчезали огромные существа, пропадали целые виды растений и животных. Распространялись эпидемии невиданных болезней, порождённых тлетворными, доселе неизвестными микробами. Вместо травоядных гигантов появлялись злые, как крысы, хищники, которые сжирали своих предшественников. И этот распад, где истлевала плоть государства, кончился рокотом танков, колоннами дивизий, вкативших в Москву и вставших на площадях.

Веронов очумело бродил по Москве. Приближался к танкам у Белого дома. Видел проституток, залезавших в люки к танкистам. Прозрачный мусор баррикады. Ждал, когда всё завершится, безумие себя израсходует и устало схлынет. И он снова вернётся к своим восхитительным формулам, космическим поселениям, в которых будет обитать "человечество будущего", захватив в небесный чертог великие поэмы, сказания о героях, "музыку сфер", оставив в прошлом легковесный мусор баррикад и танцующих на броне проституток.

Трое несчастных легли под гусеницы боевых машин. Асфальт был липкий от крови. Эта кровь ослепила боевого маршала, и он бежал от этих липких пятен на Садовом кольце. Вывел войска из Москвы.

Веронов помнил притихшую, омертвелую Москву, в которой не раздавалось ни голоса, ни автомобильного гудка. Казалось, жители бежали, и город дико остывал в безвоздушном пространстве. Такая тишина бывает перед землетрясением, когда подземные, готовые сорваться платформы ещё висят на последнем крючке, и всё замерло перед ударом.

Вечером он вышел из дома, и всё вокруг рокотало, шевелилось. На проезжей части толпились люди. Возбуждённые колонны шли в разных направлениях, выкрикивали призывы, размахивали трёхцветными флагами. Сходились, смешивались, проводили короткие митинги и снова шли каждая в свою сторону. Были драки, кого-то нещадно лупили. Прямо на улицах распивали водку, предлагая выпить прохожим. Какой-то бомж запрокидывал косматое лицо, хватал губами бутылку, захлёбывался в булькающем хохоте. Длинноволосый музыкант играл на саксофоне, медленно шёл по улице, а за ним тянулся хвост, и казалось, он уведёт их за край земли, опьянённо, заворожённо они будут следовать за ним хоть в пучину морскую. Веронову казалось, что над городом висит гарь, то ли жгли мусор, то ли бумаги в учреждениях, или сгорало само время, превращаясь в едкий дым.

Кремль выглядел воспалённым, словно его ошпарили кипятком. Вокруг звёзд стоял туман, будто они испарялись. За стеной, среди дворцов и соборов что-то горело, и на низком небе танцевали отсветы кремлёвского пожара. Веронов пробегал мимо Кремля, и вместо обычного, с самого детства, благоговения испытывал ужас и отвращение.

Он пытался затеряться среди переулков, и в одном из них случилось страшное. Вдруг он увидел, как навстречу ему, вылетев из подворотни, несётся собака. Громадная, с косматым загривком, блестящими в оскале зубами, из которых свисает набок язык. Из пасти собаки шёл пар, хотя было по-летнему тепло и душно. Собака, хрипя, промчалась мимо, скосив на Веронова дикие, с красными белками глаза. Кинулась в подворотню, а оттуда в переулок выбежала девочка и с тонким воплем стала убегать. За ней прыжками гналась собака. Догнала, ударила тяжким туловищем, сбила и с хрипом стала рвать, рыться клыками в хрупкой мякоти, из которой раздался жалобный вскрик и смолк. Только свирепо хрипела собака, грызла беззащитное тело.

У Веронова страшно сверкнуло в глазах, и он рухнул на тротуар, под фонарь, который тут же погас.

Он долго лежал в больнице, долго укрывался в лесной клинике под наблюдением врача. Исцелился, но знал, что стал другим. Всё то же лицо и тело, тот же звук голоса, то же отражение в зеркале. Но он был другой. Из зеркала смотрело на него лицо кого-то другого, кто переступил из одной жизни в другую, из одного мира в другой. Неведомая мгла в него вселилась и дремала, ожидая часа своего пробуждения.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Позвонил Янгес:

— Дорогой Аркадий Петрович, хочу повидаться. Да вот беда, на несколько дней в Европе. Банковские дела. Банк, как корова, требует ухода. А то перестанет давать молоко. Но как вернусь, обязательно встретимся.

— Буду рад, — сухо ответил Веронов.

— Но я, собственно, почему вам звоню. Вы же знаете, что наш самолёт, который вёз в Сирию певцов и чудесную женщину-врача, этот самолёт разбился. Ужасная катастрофа. Потрясла всё общество. Стольких людей сделала несчастными.

— Это беда, — сказал Веронов.

— Ещё какая! Но среди тех, кто стал несчастным, среди овдовевших женщин, осиротевших детей, неутешных матерей и отцов есть несчастные, о которых никто не подумал.

— Это кто?

— Бомжи, за которыми ухаживала врач-милостивица. Она лечила их, кормила, пристраивала, куда могла. Эти бомжи осиротели, стали неприкаянными. Мне передали, что они приходят туда, где она их собирала, не находят её и плачут. Им надо помочь.

— При чём здесь я?

— В некотором роде, конечно, совершенно условно, вы погубили самолёт. Этого никто не докажет, но мы-то с вами знаем. И теперь мы должны хоть как-то искупить вину.

— Что вы хотите?

— Я распорядился, чтобы бомжей собрали на их обычном месте, на площади Трёх вокзалов. Туда привезут хорошую еду, горячую кашу с мясом. Я договорился с военными, они пришлют полевую кухню. Горячий кофе, печенья. Только без водки. Будет пресса, телевидение. Устроим им праздник.

— Моё участие необходимо?

— Дело добровольное, Аркадий Петрович, но я знаю, что вы совестливый человек. Просто предлагаю вам принять участие. Это не только благотворительность. Это дань памяти самоотверженной женщине и, хоть в малой степени, искупление нашей вины.

— Я приду, — сказал Веронов.

Он сидел в кабинете, глядя на осеннее золото, тёмное от дождей, среди которого монастырь дивно сиял, словно осень изошла из его бело-розовых стен, узорных палат, ажурных колоколен. Он удивлялся тому, как быстро согласился на требование Янгеса явиться на площадь Трёх вокзалов. Ибо это была не просьба, не приглашение, а требование, которому он подчинился. Тайная власть, которой обладал над ним Янгес, имела колдовскую природу.

Зависимость, которую он испытывал от банкира, гнездилась в тёмной глубине его, Веронова, сущности. В эту сущность проник Янгес и управлял ею. Теперь, после недавнего звонка Веронов силился подавить эту зависимость, освободиться от чар, которые несли ему гибель.

Шёл дождь. Площадь Трёх вокзалов шипела, кипела, липко вспыхивала. На липком асфальте собрались бомжи. Они сами казались объедками, которые выплюнула площадь, дожидаясь, когда их снова поглотит булькающее варево.

— Здорово, мужики, — бодро произнёс Веронов. — Ну что, пировать будем?

— Да мы не для этого, так, — пугливо ответил один, в стоптанных красных кроссовках, в шляпке, которая была женской, но с неё сорвали бахрому матерчатых цветов.

— Нам сказали, Лизавета Фёдоровна зовёт. Мы и пришли, — сказал другой, в синей, залитой маслом штормовке, отороченной лысым мехом. — Если нельзя, мы пойдём.

— Ты что, дурак, Ломоть! — произнёс распухшими губами третий. — Лизавета Фёдоровна на дне морском. Мозги-то нельзя пропивать.

— А чем кормить будут? Хорошо бы суп горячий, — тоскливо спросил ещё один, без шапки, с синяком под глазом.

— Может, чего горячей? — хохотнул бомж в тельняшке и офицерской фуражке. Оглядел товарищей и щёлкнул себя пальцами по шее.

— Ты чего, Майор! Елизавета Фёдоровна дала бы тебе по башке.

Появился гармонист, в русской косоворотке, в сапожках, с чубом из-под лихой кубанки. Стал играть, растягивая картинно баян, и бомжи слушали, качали головами, а один пустился было в пляс, но смущённо осёкся и спрятался за остальных.

Прибыли телекамеры. Операторы расставляли треноги, наводили окуляры на бомжей. Какая-то девица с блокнотом ходила среди бомжей, расспрашивала, а те, казалось, обнюхивали её, пахнущую духами. Засверкали вспышки фотоаппаратов.

— Вон, вроде везут харчи. Суп или что?

Подкатил военный зелёный микроавтобус. За ним тряслась полевая кухня — зелёный чан на двух колесах. Из микроавтобуса вышли женщины с пакетами, в которых лежали пластмассовые тарелки и ложки. Вынесли огромный металлический чайник, из которого шёл пар.

— Сколько вас тут ртов, орлы? — дородная румяная женщина весело оглядела бомжей, пошла на них, наступая пышной грудью. — Танцуем или кашу едим?

Гармонист тряхнул кубанским чубом, развёл меха ревущего баяна. Лихие перебоpы народного пляса хлынули на площадь, женщина затопотала, затанцевала, повизгивая, выманивая бомжей в круг. И те, вначале неуверенно, потом всё бесстрашнее шли к женщине, топтались своими кроссовками и ношеными туфлями. Дергали нелепо плечами, тянулись к женщине, а она от них ускользала. Если кто-то хотел её ухватить, била его по рукам.

— Орлы, натощак танцуем, а то брюхо набьёте, станет вываливаться!

Другие женщины открывали бак полевой кухни. Веронов подошёл поближе. В баке была густо сваренная гречневая каша с кусками мяса. От неё шёл пар, вкусно пахло тушёнкой. В чайнике был кофе с молоком.

Играл баян, сверкали вспышки, оператор по дуге обходил танцующих, вступал в круг, удалялся, захватывая камерой площадь, карусель машин, спешащий люд.

Веронов достал из нагрудного кармана пластмассовый флакон с раствором слабительного, которое утром купил в аптеке. Слабительное, как уверял аптекарь, было мгновенного действия. Он влил в кашу раствор, помешал черпаком, делая вид, что пробует солдатское блюдо. То же сделал с кофе. Отошёл, глядя, как женщина, танцуя, приближается к полевой кухне, маня за собой бомжей.

— Вы что-то сказать хотели? — она обратилась к Веронову, задыхаясь после танца. — Пожелайте орлам приятного аппетита!

Веронов чувствовал нетерпение бомжей, ловивших ноздрями исходивший от каши дух:

— Лизавета Фёдоровна была исключительной женщиной, настоящей русской героиней. Она ездила в Донбасс под бомбёжки и вывозила оттуда раненых детей. Она не боялась самых страшных эпидемий и вытаскивала людей из лап смерти. Мы знаем, что Бог забирает лучших. Её нет среди нас. Но она завещала нам заботиться о малых мира сего. И сегодня мы выполняем её завет. Мы и впредь будем оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

Веронов отступил, приглашая бомжей к полевой кухне. Те подходили, вставали в послушную очередь. Женщины щедро накладывали в пластмассовые тарелки кашу с мясом. Наливали в стаканчики сладкий кофе. Бомжи жадно ели, запивали. Баян играл. Оператор снимал благотворительную трапезу.

Бомжи ели ещё и ещё, тяжелели от сытной пищи. На их бородах и усах налипла каша. Они блаженно улыбались, утирали рукавами рты.

Вдруг тот, что был в тельняшке и офицерской фуражке, тонко вскрикнул, схватился за живот. Беспомощно оглядываясь, попытался бежать. Согнулся,

заверещал, помчался прочь, держась за штаны. А его крутило, он верещал, как заяц, а потом сел на землю и не шевелился.

Тот, что был в красных кроссовках, стал сжимать ноги, корчил больные гримасы, сдавливал живот, подхватывал сзади штаны. Ковыляя, постанывая, волочился прочь. Третий сквернословил, харкал, показывал кулак, а потом присел тут же подле кухни, стянул штаны с тощих ягодиц.

Баян продолжал играть. Толстогрудая женщина со своими помощницами залезла в микроавтобус, и он укатил с трясущейся полевой кухней. Операторы продолжали снимать разбредающихся, полусогнутых бомжей, издававших жалобные крики.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мерзкое действо на площади Трёх вокзалов, как вспышка чёрного света, отражённая множеством чёрных зеркал, породило волнения в Москве. Либеральные вожди вывели своих сторонников на Тверскую. Те захватили с собой малолетних детей. Шествие протестующих заполонило центр, вместе с родителями шли дети. Одни несли разноцветные шары, флаги. Другие скакали, забирались на фонари, рисовали на стенах карикатуры на президента и мэра. На демонстрантов набрасывались национальные гвардейцы в шлемах и доспехах, с дубинками. Отрывали детей от родных, запихивали в автозаки. Веронов у телевизора ждал, что вот-вот покажут убитого, в луже крови ребёнка, и начнётся восстание.

Янгес отсутствовал. Милая секретарша обещала сообщить о его звонке, но ответного звонка не последовало.

Веронов знал, что существуют лекарства от колдовства. Средства, способные одолеть чары. Существует высшая сила, способная одолеть зверя. И он отправился в Новодевичий монастырь к отцу Макарию, который однажды при нём изгонял из людей бесов.

Было сумрачно, с деревьев летели жёлтые листья. Надгробья мокро блестели, но розы всё так же благоухали. Из низких туч тихо пели колокола. Мимо шёл молодой монах, с торчащими из-под скуфейки космами волос, узкий в талии, перетянутый ремнём, из-под которого пышно вылетала ряса. Поравнявшись с Вероновым, он, радуясь какой-то своей мысли, посмотрел на него синими глазами, собираясь пройти.

— Вы кого ждёте?

— Мне бы отца Макария.

— Вам зачем? — Монах пытливо осмотрел Веронова с ног до головы, как если бы хотел отыскать в нём признаки увечья или иных отклонений. — Батюшка отдыхает после службы.

— Я подожду.

— Подождите. Если батюшка не спит, я позову.

Веронов смиренно ждал под моросящим дождём. Московская осень принесла с собой холодные ветры, листопад, низкие тучи, среди которых купола горели, как золотые глаза. Город за стеной чуть слышно шумел. А здесь, над могилами, краснели рябиновые грозди и в деревьях перелетали дрозды.

Появился отец Макарий.

— Что надо?

— Помощь! Не могу, он меня мучит, убивает! Страсть огненная, лечу в чёрную бездну! А потом кругом катастрофы! Дети гибнут, самолёты падают! Убейте его во мне! Или меня вместе с ним!

Монах молчал, осматривал его, резко взглядывал, словно орудовал гвоздодёром.

— Не ко мне. У нас запрещено отчитывать. Поезжай в Троице-Сергиеву. Там отец Адриан. К нему иди, отчитает!

— Батюшка, не отказывайся! Вот, возьми на ремонт храма! — Веронов извлёк из кармана толстый конверт с деньгами, протянул монаху. Тот взял, сунул в куртку. Протянул к Веронову жилистую руку, сложил щепотью

персты. Не касаясь живота, перекрестил. Веронов почувствовал, как дёрнулось в нём существо, больно сдавило нутро, и он слабо вскрикнул.

— Вон как крест чувствует, — сказал монах. — Приходи сегодня после вечерни. Стой здесь, меня спросишь, — и пошёл, сутулясь, опустив могучие руки, словно борец по ковру.

Веронов вернулся домой и ждал, когда за окном слабо прозвенит монастырский колокол, созывая прихожан на вечернюю службу. Стемнело, попрежнему сыпал дождь. Веронов надел плащ, вышел в холод московского осеннего вечера, с жёлтыми окнами, с летучим проблеском автомобилей. Когда он вошёл в монастырь, служба ещё продолжалась. В храме горели оранжевые окна, слышалось негромкое пение.

Веронов редко бывал в храме — на Пасху и Рождество, чтобы полюбоваться красивой службой. Не постился, не исповедовался, не причащался. И сейчас испытывал неуверенность, желание повернуться и уйти. Но оставался, ибо это зверь понуждал его уйти.

Наконец служба кончилась, зазвенел колокол. С крыльца стали спускаться прихожане, немолодые женщины, переговаривались тихими голосами. Прошли мимо Веронова, потянулись к монастырским воротам.

Он ждал, замерзая на дожде, видя, как гаснут, темнеют оранжевые окна храма. Все погасли, только одно слабо светилось.

Он почувствовал, как вдруг стало тяжело в паху. Эта тяжесть колебалась, словно жидкий ком ртути. Веронов положил руки на пах, будто обнимал этот тяжёлый жидкий шар, не давал ему расплескаться.

Появился знакомый молодой монах:

— Батюшка ждёт, идёмте.

Они вошли в храм. Здесь стоял сумрак, только слабо светилось несколько лампад, и в подсвечнике горела свеча. Было тепло, надышали прихожане. Казалось, в тёмных углах ещё слабо звучат песнопения.

Из алтаря вышел отец Макарий. На нём была золотая епитрахиль, висел крест.

— Ступай сюда, — приказал он Веронову, указывая на таз, полный воды. Сквозь воду виднелись эмалированные цветы.

— Крещен?

— Бабушка крестила младенцем.

— Разувайся. Снимай с себя всё до исподнего.

Веронов пугливо скинул туфли, стянул носки, совлёк с себя всю одежду, оставшись в одних трусах.

— Вставай, — отец Макарий указал на таз, и Веронов встал в холодную воду на эмалированные цветы. Почувствовал, как внутри напряглась, набухла мускулами посторонняя плоть, распирая рёбра и таз.

Отец Макарий обратил лицо к свече, перекрестился и стал читать:

— Отче наш, иже еси на небесех...

Веронов испытал страшную боль, будто рвались кишки. Кто-то в нём прорывался сквозь кишки, отталкивал печень, сердце. Пытался пролезть сквозь пах, застревая в бёдрах. Кидался наверх, стремясь вырваться из горла. Внутри всё бурлило, сворачивалось в клубки боли. Изо рта пошла жижа, закипела пена. Веронов захлёбывался, выпучивал глаза, топтался в плещущей воде и кричал:

— Отпусти! Отпусти!

Священник молился:

— Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое...

У Веронова хрустели кости. Он испытывал ужас, рычал и выл. Ему хотелось грызть зубами священника, грызть свечу, рвать на части стоящего рядом молодого монаха. Тот закрыл лицо и отвернулся.

— Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли.

Веронов валился на бок, выпадая из таза:

— Отпусти! Отпусти!

Отец Макарий повернулся к нему, и Веронов сквозь слёзы увидел, как полыхают глаза священника. Они вращались в орбитах, словно тот взором выкручивал, вывинчивал из Веронова жуткий винт. Тянул набухшие жилами

руки, словно пытался выдрать незримое корневище. Страшная морщина пролегла по его лбу. Он поднял крест, обратил его к Веронову. Голосом, похожим на вопль, воскликнул:

— Изыди!

Веронов слышал, как с треском распадается грудь, хлещет из разорванных сосудов кровь. Наружу, выпутываясь из кишок, выскакивал кто-то огромный, волосатый, похожий на гориллу. Горилла с ненавистью на него обернулась. Он рухнул, опрокинув таз, ударился о каменный пол.

Очнулся на лежаке. Над ним на церковной стене виднелась фреска: Георгий топчет конём и колет копьём кольчатую гидру.

— На-ко, выпей кагора. — Отец Макарий поднёс ему чашу. Веронов сделал несколько глотков тёплого вина. Он был без сил, но это бессилье было сладким. Было исцелением.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Утром он лежал исцелённый в прозрачном осеннем солнце, чувствуя блаженную слабость. Не было сил, но была чудная пустота. Каждая клеточка изнурённого тела напоминала крохотный сосуд, из которого утекла ядовитая капля, и теперь он наполнялся животворной влагой. Так лист дерева после долгой ночи впитывает в себя любимый свет, растёт, блаженствует.

Веронов суеверно прислушивался к этой пустоте, боясь восполнить её чем-нибудь случайным, никчёмным. Он достал диск, на котором были записаны народные романсы из тех, что так любила напевать мама своим несильным трогательным голосом. И теперь эти романсы сочетали его с былой красотой, с драгоценным туманным прошлым, в котором витали родные лица, упоительные напевы, простые и вещие слова, и от них плакала и ликовала душа.

“Соловьём залётным юность пролетела, // голубой кафтан мой, весь он износился”. “Не шей ты мне, матушка, красный сарафан”. “Мутит душу мою // твой печальный наряд, // ах, зачем ты в него // нарядила себя”. “Помню, я ещё молодушкой была, // наша армия в поход куда-то шла”. “Что ты жадно глядишь на дорогу // в стороне от весёлых подруг”.

Он слушал романсы, закрыв глаза, и ему чудились широкие степные тракты, многолюдные села, поросшие цветами обочины, конница пылит, уходя в поход, шумят ярмарки, летают качели, горят в тусклых избах лучины, и в этой таинственной мгле дышат родные лица, и его изнурённый дух вновь обретает цветущую силу.

Он снял с книжной полки Пушкина, которого, казалось, не читал с юности. И вдруг волшебство пушкинского стиха открылось ему, и он изумлялся, как это доступно — оказаться в той незабытой стране, где “в багрец и золото одетые леса”, где “шум и гром, и говор балов”, где “лоскутья тех знамён победных, сиянье шапок этих медных”, где “отцы пустынники и жены непорочны”, где “девичьи лица ярче роз”, где “вьются тучи, мчатся тучи”, где “у Лукоморья дуб зелёный”...

Теперь, когда он исцелён, он поедет на материнскую могилу, на тихое подмосковное кладбище возле деревни, где когда-то была их дача и прошло его детство. Он приберётся на могиле, покрасит оградку, проведёт несколько светлых печальных часов в воспоминаниях, которые сделают их неразлучными. “Мама, я скоро приеду к тебе”, — думал он с нежностью.

Ему вдруг пришла счастливая детская мысль. Захотелось оказаться среди осенних деревьев, на тёмных сырых дорогах и собрать гербарий осенних листьев. Повинуясь этой детской прихоти, он отправился в Нескучный сад. Бродил по мокрым аллеям и сырым извилистым тропкам. Вдыхал пьяный дух осени, переступая жёлтые, сияющие на чёрной земле листья. Он взял в свой гербарий волнистый дубовый лист, поцеловал его, ощутив печальную горечь. Поднял зубчатый жёлто-розовый лист клёна, выбирая его из шелестящей кипы. Нашёл лапчатый ржавый лист каштана. Осиновый красный лист, в котором дрожала дождевая капля с потаённой лазурью. Он собрал из

листьев букет и нёс его по аллее, думая, как станет раскладывать коллекцию среди газет, под пресс тяжеловесных книжных томов.

Навстречу ему выбежал малыш в красном пальтишке, в вязаном синем колпачке. Протянул лист рябины:

— Дядя, вот ещё листик.

Веронов принял дар, поместил в свой букет. На глазах его появились слёзы. Он вдруг испытал такое умиление, такое обожание этого хрупкого мальчика, подарившего ему лист рябины, что не удержался, поцеловал мальчика в синий колпачок. Видя, как торопится к своему сыну молодая мать, пошёл по тропинке, не утирая слёз.

Анна Васильевна кормила его обедом:

— Вы, Аркадий Петрович, сегодня просветлённый какой-то. Может, влюбились?

— Вы моя невеста, Анна Васильевна.

— Ну, уж вы скажете! — и она смущённо отмахнулась рукой. Он уловил этот особый жест, в котором ещё оставалась милая женственность, какая бывает только у русских женщин. Подумал, как чудесно старятся русские женщины, с годами наполняясь возвышенным благородством. Анна Васильевна, красавица в молодости, и теперь, пополневшая, поседевшая, была исполнена неподвластной годам красоте, той, что сохранится в ней до глубокой старости.

Веронов сел за компьютер и послал электронные письма другу Степанову и Вере Полуниной, близкого содержания. В них он каялся, просил прощения, ссылался на безумие, которое теперь, слава Богу, одолел. И если есть ему прощение, он будет счастлив их увидеть и, как может, искупит свою вину.

Пребывая в этом просветлённом умилении, возмечтал уехать куда-нибудь в русскую деревню и там, в одиночестве, среди голых дерев и сирых полей, встретить Покров с первыми снегами.

Раздался звонок. Веронов испуганно, тоскливо смотрел на мерцающий телефон, слушал настойчивые звонки. Эти звонки сулили несчастья. На них каждый раз откликался поселившийся в нём урод, требовал утоления, требовал, чтобы Веронов взял трубку.

Теперь он прислушивался к себе, желая уловить в своём чреве посторонние биения, обнаружить присутствие урода. Нутро молчало. Было пустым, освободилось от бремени. Он был исцелён. Урод был изгнан. Чёрный гость, поселившийся в нём, покинул жилище. Чтобы окончательно увериться в своём исцелении, в избавлении от незваного гостя, Веронов взял телефон.

Звонил давний приятель Пётр Макровецкий, главный редактор телекомпании “Лотос”, покровитель множества политических и культурных направлений, сделавший “Лотос” законодателем мод. Пётр Макровецкий создавал репутации. Разрушал их, если понадобится. Был вхож в Кремль. Дружил с радикальной оппозицией. Был принят в закрытых зарубежных сообществах. И, кроме того, был весельчак, завсегдатай клубов, душа богемы. Но вдруг всё это свёртывалось в тугую спираль, готовую распрямиться с жестоким свистом.

— Аркаша, поздравь меня. У меня день рождения.

— Это национальный праздник. Поздравляю, друг.

— Хочешь мне сделать подарок?

— Повезти тебя на Бали?

— Приходи ко мне сегодня в эфир.

— Так сразу? Я не готов.

— Тебе и готовиться не надо. Посидим у микрофона, поговорим о всякой всячине. О культуре, о политике. О вернисажах.

— Да я как-то отвык от вернисажей.

— Не упрямься. Сделай другу подарок.

Веронов прислушивался к утробе, ни притаился ли там чёрный гость, не слышно ли биение чёрного сердца. Гостя не было. Веронов был избавлен от скверны. Над Вероновым, как чудесный покров, простёрлись жилистые руки отца Макария, его стальная борода, пылающий взгляд, изгоняющий зверя.

— Когда эфир?

— Часа через три.

— Приду.

Он надел свой лучший костюм. Небрежным пышным узлом завязал французский шёлковый галстук. Купил букет алых роз и отправился к Макровецкому, которому был многим обязан. Тот в трудные времена поддерживал его, создавал ему репутацию экстравагантного модного художника.

Телекомпания "Лотос" располагалась на Новом Арбате, и в её коридорах, кабинетах и студиях царило особое возбуждение, которое было свойственно интеллигентским кругам, где витали опасные слухи, мнимые страхи, едкие сплетни, горькие разочарования и мстительные планы по отношению к власти — источнику бед, терзавших Россию. Макровецкий собрал вокруг себя первоклассных аналитиков, известных политических деятелей, писателей и художников, что позволяло ему наносить удары в самые чувствительные места общественной мысли. Создавать целые направления, которые возникали на пустом месте и тут же исчезали, оставляя едва заметную, несмываемую пыльцу общественных настроений.

В гостевой комнате, где приглашённые ожидали эфира, одна из ведущих, белокурая, в голубом туалете, не стесняясь Веронова, сидела в кресте, легкомысленно обнажив ноги, отдавала себя во власть гримёрши, которая укладывала её волосы, а она рассматривала свои красивые длинные пальцы с ногтями, только что покрытыми лаком.

— Вот он, герой скандальных хроник, сеющий бурю в интернете. Букет предназначен мне?

— Букет для Макровецкого. Поцеловал бы ваши персты, да боюсь выйти в эфир с лакированным носом.

В гостевую вошёл адмирал в чёрной форме с регалиями, только что из эфира. Возбуждённый, говорил сопровождающей его ведущей:

— Вода в Средиземном море имеет цвет ваших глаз. Буду вспоминать в походе ваши глаза.

— Вам будет не до меня. Вы станете стрелять ракетами по Сирии и забудете обо всём остальном.

Адмирал удалился, и его место занял вальяжный оппозиционер с холёным лицом, занимавший когда-то высший пост в правительстве, но потом перешедший в оппозицию. Он улыбался милостивой улыбкой, полагая, что является неотразимым, статный, в дорогом костюме, с золотым перстнем на ухоженных руках. Его сопровождала лёгкая, словно порхающая ведущая с цыганскими бедовыми глазами и глубоким вырезом платья, не скрывавшим чудесный загар.

— Все, кто вас слушает, ловит не мысли, а оттенки вашего голоса. Воображаю, как вы поёте.

— Ваш баритон с упоением слушает интеллигенция и со страхом слушает Кремль.

— Мы сегодня составили с вами неплохой дуэт.

В гостевую влетел Пётр Макровецкий, как всегда, возбуждённый, пылкий, неряшливо одетый, с седыми, плохо промытыми волосами, с большими лошадиными зубами. Кинулся к Веронову:

— В студию! Минута до эфира! Уроки обольщения? — Он зыркнул на женщин глазом дрессировщика и потащил за собой Веронова.

— А букет? А шампанское?

— С собой! Всё в прямом эфире! Зачатие, рождение, смерть — всё в прямом эфире!

Веронов захватил букет роз. Они прошли в студию, и, усаживаясь у микрофона, Веронов положил рядом с собой букет, чтобы он был виден в камеру.

— Дорогие радиослушатели, начинаем нашу передачу "Понемногу обо всём". Сегодня у нас в гостях знаменитый художник, творец необыкновенных акций, ньюсмейкер, разрушающий миф о несовместимости политики и культуры, Аркадий Веронов.

— Петрусь, пользуюсь случаем поздравить тебя с днём рождения. Этот букет роз — символ твоих бессчётных пламенных дарований. — Веронов коснулся цветов, чувствуя их свежий холодный аромат.

— У нас ещё будет время после эфира выпить за моё здоровье! А теперь к делу!

Микрофон, как маленький чёрный клубочек, был перед самым лицом Веронова. Напротив, перед таким же чёрным клубочком сидел Макровецкий. Тут же пламенел букет роз. Смотрели зрачки телекамер.

— Не кажется ли тебе, Аркадий, что власть, отгородившись от искусства, заблуждается относительно своей безопасности? Искусство обойдёт власть с тыла и саданёт финкой под лопатку.

— Не думаю, чтобы у искусства была такая задача, — сказал Веронов. — У ветра нет задачи обогнуть дом с тыла и найти в нём щель. Он дует и дует. Одни боятся ветра и конопатят стены, а другие делают ветряки и добывают из ветра электричество.

Веронов был доволен своим ответом.

— Но не кажется ли тебе, что наши политики, создавая предвыборные команды, насыщают их экономистами, политологами, социологами, разведчиками, но только не художниками? И много теряют. Художник способен силой эмоций менять мир. Сотрясать его или созидать.

Веронов ощутил беспокойство. Беспокойство вызывал букет роз, его багровые цветы, в глубине которых таилась тьма. Веронов отодвинул букет, чтобы вид цветов его не тревожил.

— Эмоцию художника вряд ли использует тот, кто не обладает эмоцией. Политики меняют мир, а художники своим творчеством фиксируют эти изменения.

— Но я читал арткритика, который следит за твоим творчеством. Он утверждает, что каждый раз вслед за твоим действом случаются аварии и катастрофы. Словно ты раскачиваешь кладку мира, и из неё выпадают кирпичи.

Веронов видел, как сгущается тьма в глубине букета. Алые розы чернеют, они начинают пахнуть, как пахнут гробы, полные цветов.

— Это неправда, — сказал Веронов, отворачиваясь от букета.

— Но этот арткритик утверждает, что после твоего великолепного представления с пулемётом, когда ты расстрелял холостыми банкиров, случился грандиозный пожар на рынке, во время которого сгорело несколько пожарных.

— Это совпадение. — Веронов видел, как шевелятся цветы, и в них скрывается тёмное существо, рассматривающее его из лепестков.

— Ну, как же неправда! А после твоей блистательной выходки в обществе “Мемориал”, когда ты подсунул мученикам ГУЛага икону Сталина! Сразу после этого под Нижним Новгородом столкнулись два скоростных поезда. Было столько жертв!

— Перестань, — слабо произнёс Веронов, видя, как из букета высовывается мохнатое рыльце с розовыми мокрыми ноздрями и снова прячется. — Перестань.

— Да не скромничай, Аркаша. А твоя выходка с Зоей Космодемьянской, когда ты сжёг тряпичную куклу. После этого разбился пассажирский самолёт с военными певцами и женщиной-врачом. Свидетели утверждали, что в самолёт вонзился прозрачный фиолетовый луч. Это твоя эмоция.

Веронов молча слушал, как тоскливо замерло его нутро, как мучительно, медленно оно растворяется, и в него из букета прыгает ловкий мохнатый зверёк и свёртывается в его утробе, как в норке. На Веронова надвигалось помрачение. Он боролся с ним, гнал зверька обратно в цветы, звал отца Макария, старался нырнуть под его простёртые руки, под железную бороду. Зверёк, поселившийся в нём, разрастался, ворочался, скрёб цепкими коготками. Веронов задыхался, давился, хрипел.

— Но как же ты говоришь, что случайно, — не замечал его муки Макровецкий. — А на площади Трёх вокзалов, куда собрались несчастные бомжи...

С хрипом и клёкотом Веронов вскочил, схватил букет и стал хлестать им по лицу Макровецкого. Бил кулаком, и телекамеры разносили по миру дикую сцену. Веронов упал на стул. Ему казалось, что мир треснул, и одна его

половина переворачивается, как подорванный крейсер, показывает киль и медленно погружается в пучину. Веронов летел в чёрную яму, издавая животный вопль.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Утром после бессонной ночи, когда его крутило и подбрасывало в постели, Веронов в ванной рассматривал себя в зеркало. На него смотрело почерневшее лицо старика с трясущимися губами. Глаза с красными веками слезились. Взгляд бродил, словно он хотел углядеть кого-то, кто таился за его отражением. Волосы свалялись и напоминали шерсть. Тело было покрыто зеленоватыми пятнами, словно он превращался в тритона. Сквозь его облик проступал облик кого-то жуткого, кто в нём поселился. Было страшно коснуться лица, ибо казалось, что оно начнёт расползаться, и сквозь разорванную кожу глянет свирепая личина чудища. Гость, которого изгнал отец Макарий, снова вернулся. Был в его доме. Был в нём.

Снаружи доносилась бравурная музыка, размытые мегафонные возгласы, будто шёл праздник. Веронов включил телевизор. Передавали репортаж из Владивостока, где радостные нарядные люди несли флаги, транспаранты, воздушные шары. Рассказывалось, как во Владивостоке отмечают День национального примирения и единства.

Веронов вспомнил, что сегодня государственный праздник, Дальний Восток его уже празднует, а Москва только собирает свои праздничные колонны, выводит на улицу демонстрантов, оркестры.

От открыл интернет и узнал, что по Москве, в центр, к Кремлю, где высится памятник равноапостольному князю Владимиру, пойдёт несколько колонн из разных частей города. Правящая партия. Коммунисты. Русские националисты. Либеральные оппозиционеры. Все они сойдутся у памятника. На трибуну взойдут представители всех политических течений и конфессий, и под сенью руки крестителя продемонстрируют единство, солидарность, верность молодому Государству Российскому.

Ему вдруг страстно захотелось в толпу, на улицу, в осенний предзимний холод с брызгами дождя, с мокрым снегом. Но он не понимал, кто гонит его из дома. Он ли, желающий в тесных гомонящих толпах очнуться от наваждения, или тот, кто засел в нём, торопит его вон из дома, желая прогуляться среди праздничных толп.

Веронов запахнул тёплое пальто, надел широкополую шляпу и вышел в ветреную сырость, где в голых деревьях, похожий на красную гроздь рябины, сиял монастырь. По набережной от Лужников густо шёл народ, мимо имперской громады министерства обороны, вдоль ветреной реки, за которой, коричневый, безлистый, туманился Нескучный сад, крутились аттракционы Парка культуры и белела одинокая беседка с колоннами, с детства вызывавшая у него умиление.

В колонне, куда он примкнул, шли русские националисты. Это был Русский марш, которому власти города отвели маршрут по набережной, через Остоженку, Волхонку и к памятнику князю Владимиру.

Попав в многолюдье колонны, Веронов почувствовал облегчение. Он был среди своих. Кругом были лица, которые казались родными. Колыхалось множество чёрно-оранжево-белых имперских знамён. Среди них трепетали Андреевские стяги. Огромную икону Казанской Божьей Матери несли шесть дюжих молодцев. Звучали строевые марши, “Прощание славянки”, казачьи песни. Священники в облачениях с песнопениями несли хоругви. В нескольких местах виднелись портреты последнего Царя-Мученика.

Веронов шагал, не отрывая глаз от Богородицы, веря, что она укротила живущего в нём зверя, изгнала его, и теперь “дух изгнанья”, не находя приюта, летает над осенними водами.

— Она, Царица Небесная, заступница русская, — произнесла шагавшая рядом с Вероновым немолодая женщина в платке и длинной юбке, похожая на паломницу. — Всегда вызволяла Россию, и теперь вызволит. Она нас ви-

дит и за каждого молится. Спаси нас, Царица Небесная. — И женщина на ходу перекрестилась, гибко согнулась в талии.

“Какое у неё чудесное, одухотворённое лицо! — подумал Веронов, — Какое счастье, что я русский”!

Вдоль колонны, то отставая, то вновь становясь во главу, перемещался руководитель. Веронов видел его где-то, быть может, на экране, на пресс-конференциях. Без шапки, с золотистыми офицерскими усиками, с эмблемой орла на груди, он приближался то к одному, то к другому, говорил несколько слов, и люди в ответ улыбались, кивали. Было видно, что он любим, что им дорожат, признают его водительство. Веронову захотелось услышать его голос, сказать, как он взволнован, как благодарен за то, что принят в их ряды, готов идти Русским маршем в победное русское будущее. Казалось, предводитель услышал его порыв, улыбнулся.

Гость, который мучил Веронова, исчез, улетучился. Не выдержал этой бодрой животворной энергии, этих молитвенных песнопений, плещущих стягов, в которых шумело русское время, русская удаль, русское возвышенное мечтание.

Колонна с набережной свернула на Остоженку, наполняя всю проезжую часть. Вышла на Волхонку к белому, как огромный сугроб, храму Христа Спасителя. Все, кто шёл в колонне, крестились на золотой купол. Ярче зазвучали песнопения. Колонна, оставляя Волхонку, вылилась к Кремлю, к Каменному мосту, к величавому князю Владимиру, который приветствовал их воздетым крестом, опустив к земле суровый меч.

Кремль, розовый, в лёгкой дымке, казался влажным, телесным. Металлическая ограда отделяла Троицкую башню от площади. За ней стояла цепь солдат. Каменный мост был пуст, мокро блестел. Но вдали трепетало, надвигалось, краснело флагами шествие коммунистов, которые двигались от Октябрьской площади, от памятника Ленину.

Колонна националистов, в которой шагал Веронов, выливалась на площадь. Веронов отстал от колонны, забрался по зелёному скользкому склону к Пашкову дому и стоял, озирая площадь сверху.

Колонна коммунистов красным языком залила мост, вязко стекла к Кремлю и начала сливаться с националистами, не смешиваясь с ними, а только тесня их. Красные флаги приблизились к имперским знамёнам. Советские песни мешались с церковными песнопениями. В красной колонне Веронов увидел большой портрет Ленина, который остановился недалеко от иконы Казанской Божьей Матери. Хоругви развевались рядом с красными флагами. И это выглядело как знак примирения.

Со стороны Манежной громогласно, мощно двигалась колонна кремлёвских сторонников с трёхцветными российскими флагами, транспарантами, с букетами цветов. Блестела медь оркестра. Грохотали барабаны в руках голоногих барабанщиц, которые маршировали в мини-юбках, невзирая на холод. Эта стоцветное толпище надвинулось на площадь, сминая собравшихся, требуя себе места, просачиваясь своими трёхцветными флагами в скопление красных и имперских знамён.

Площадь вязко колыхалась, как наполненная тестом квашня, взбухала. В ней двигались медленные протуберанцы, склеивались, проникали один в другой.

И уже подходила четвёртая колонна — с либеральными оппозиционерами. В ней виднелись триколоры, воздушные шарики и радужные полотнища, под которыми шли сексменьшинства. Впереди колонны шли саксофонисты, мерцали изогнутыми инструментами, оглашая площадь заунывными тягучими звуками.

Веронов стоял на холме под стенами Пашкова дома. Склон был полон людей, не уместившихся на площади, а народ всё прибывал.

У подножия памятника виднелась трибуна, окружённая полицейской цепью. На неё стали подниматься лидеры движений и партий. Белый монашеский клобук соседствовал с чалмой, еврейская кипа с буддийским колпаком. Над всеми грозно возвышался бронзовый князь, осеняя площадь крестом, опустив к трибуне острие меча.

Веронова восторгало зрелище. В этих толпищах чудилась ему таинственная сущность империи, из которой, как магма, изливались народы, верования, учения, безумные идеи, таинственные мечтания. Причудливо смешивались, уходили вглубь, вновь появлялись, и ничто не пропадало бесследно, всё повторялось из века в век, из царства в царство. И сейчас в этом вареве возникало Государство Российское, уцелевшее после страшного падения. Оно вновь начинало своё угрюмое восхождение, как тесто, в которое Господь бросил небесные дрожжи. Кремль, как глыба розовой лавы, был свидетельством вулканического извержения, в котором извергалась загадочная имперская сущность.

Трибуна была заполнена. Каждый, на ней стоящий, имел сторонников в запрудившей площадь толпе. Тысячи глаз следили за своими вождями, были готовы внимать. Князь Владимир осенял их крестом, побуждал присягнуть на верность Государству Российскому.

Первым выступал мэр Москвы, представляя главенствующую партию. Веронову с холма было видно его продолговатое лицо, бледное, синеватое, с лунным оттенком. Был слышен его металлический голос, пропущенный сквозь микрофон. Мэр призывал к единству всех.

— Да здравствует Россия! — Он воздел вверх кулак, и площадь ахнула, вздохнула. По ней покатилась волна, и в той её части, где стояли сторонники власти, там заколыхались трёхцветные флаги и раздались многоголосые клики: “Россия! Россия!”

Веронов вдруг ощутил толчок в сердце. Словно ожила чёрная, притаившаяся под сердцем почка. Стала набухать, разрастаться. Давила на сердце, отодвигала его, теснила грудь. Он с ужасом чувствовал пробуждение зверя.

Зверь, как и Веронов, слушал выступление мэра. Улавливал фальшивые, сухие, как металлическая фольга, интонации. Не к месту, неискренне произнесённое сталинское “Братья и сестры”. Походя упомянутая держава, кровоточащая, с обрубками территорий, чудом уцелевшая после краха “красной империи”. Гость торопился вырваться из Веронова, пролететь к трибуне и вонзиться в худое тело мэра, чтобы тот заклокотал, захлебнулся, выпучил глаза, вывалил синий язык, и над площадью разнёсся бы звериный металлический рык.

Веронов не выпускал из себя зверя. Удерживал под сердцем. Боялся, что зверь замутит площадь. Раскрутит на ней чудовищный водоворот. Спасал площадь, спасал флаги, толпу, стены Кремля, цепочку солдат, мелькнувшую в кремлёвских воротах машину. Он брал зверя на себя. Вызывал зверя на себя, как делают воины, попавшие в окружение и желающие погибнуть вместе с врагом.

Говорил лидер коммунистов. Веронов видел его большое лобастое лицо, красный бант на груди. Слушал его крепкий поставленный голос, кому-то угрожавший, кого-то убеждавший.

— Москва — столица тысячелетней Державы, в том числе столица великого Советского Союза. Все святыни Москвы — это святыни русской истории. Это и гробницы царей, и мавзолей Ленина. Это могилы Пересвета и Осляби, и могила Жукову. Это храм Василия Блаженного и Университет, построенный советскими людьми. Примирение, которое мы с вами празднуем, — это признание величия Ленина и Сталина наряду с величием Петра Первого и Ивана Грозного.

Площадь колыхала красные стяги, скандировала: “Советский Союз! Советский Союз!”

Говорил лидер либеральной оппозиции. Он был молодой, яростный, на лбу чернела чёлка, маленький круглый рот, казалось, не закрывался. Он нервничал, торопился, словно боялся, что его сгонят с трибуны.

— Москва — европейский город. И мы должны соответствовать нашей европейской идентичности. В Москве должны неукоснительно соблюдаться права человека. В Москве должны развиваться демократические институты. В Москве должен существовать честно избранный парламент и находиться президент, соблюдающий принцип сменяемости власти. И, конечно, в Москве, как и во всей России, должны соблюдаться права меньшинств, в том числе и сексуальных.

Одна часть площади негодующе загудела, зато другая восторженно гремела. Звучали саксофоны, развевались радужные флаги. Веронов обхватил живот руками, не выпускал зверя, который бился в нём, как в мешке.

Выступал лидер националистов, тот, что привёл колонну. Веронов видел его офицерские усики, золотого орла на груди. Чёрно-оранжево-белые имперские флаги заволновались, хоругви колыхнулись, Богородица обратила к трибуне свой лик.

Веронов услышал, как треснула грудь, лопнули рёбра, растворилось нутро. И в кровавую щель, где билось липкое сердце, что-то прянуло, размытое, жуткое, не очерченное. Выплеснуло за собой обрывки внутренностей. Бурлящей струей понеслось над толпой к трибуне. Ударило в говорившего оратора, погрузилось в него. Тот обомлел, умолк.

Веронов видел, как выпучились его глаза, съехал на сторону нос, рот под усами стал чёрной дырой, в которую вошла излетевшая из Веронова тьма.

— Да, я утверждаю, что мы, русские националисты, являемся ведущей и единственной силой Государства Российского! — Голос лидера националистов, секунду назад звучавший мелодично и бархатно, теперь ревел, в нём слышался надрывный хрип. — Мы требуем для русских всей полноты власти! Требуем покончить с русофобской политикой, начатой Лениным! Требуем вышвырнуть Ленина, эту гнилую куклу, из мавзолея и кинуть его тухлую кожу в овраг, на съеденье воронам и крысам! Требуем спилить с кремлёвских башен масонские звёзды, под которыми чахнет и погибает Россия! Мы добьёмся этого если не добром, так силой!

Он, повернувшись к стоящему рядом с ним коммунисту, с силой ударил его. Тот пошатнулся и ударил в ответ.

Трибуна заметалась. На ней возникла потасовка. Иерарх в клобуке, мулла в чалме, раввин в кипе, бонза в буддийском колпаке стали покидать трибуну. Драка на трибуне, как огонь, перелетала в толпу и подожгла площадь. Сначала загорелась кромка у трибуны. Огонь драки стал растекаться, проникал в невидимые щели, разделявшие коммунистов и националистов, либералов и ревнителей власти. Всё начинало клубиться, кипеть. В ход шли кулаки, древки флагов. Истошно били барабаны, ревели саксофоны, хрипели и выли голоса. Вся площадь превратилась в побоище. Взлетали руки, били ноги, катались ревущие клубки. Всплывали и тонули в гуще портрет Ленина и икона Богородицы. Крест в руках князя Владимира не останавливал побоище, а, казалось, благословлял его.

Площадь, охваченная ненавистью, не вмещала дерущихся. Толпа разбухала от ударов, смещалась к Троицкой башне. Солдаты сдерживали толпу цепью, сначала одной, потом второй, третьей. Толпа давила на заслон, как давит слепая вода на дамбу. Выгибала цепь, медленно теснила её к Кремлю. Быстро сгущались сумерки. Над дракой зажглись фонари, словно кто-то подсвечивал побоище. Веронов с холма смотрел на чёрное варево, бурлящее от боли и ненависти. Подумал, что это он учинил бойню, он разрушил хрупкий свод, выкалывая из него камни, и теперь рушится огромный свод государства, и скоро всех погребут обломки.

Над его головой зазвенели и посыпались стекла из окон Пашкова дома. Полыхнул рыжий огонь. Дом горел, и из окон прыгали люди. Следом загорелась Публичная библиотека и дальше Манеж. Пламя вылетало из окон, будто там разливали бензин.

Драка ходила кругами, словно в чёрной воде двигалась огромная рыба.

Веронов знал, что в толпе поселился излетевший из него гость. Месит, перемешивает, перелопачивает, и уже не разглядеть, кто националист, кто коммунист, где либерал, а где исповедник власти. Каждый бился с соседом. Красный флаг хлестал другой красный флаг. Одна хоругвь разила другую. Земля дрожала, расходились платформы, Москва уходила в бездонный котлован.

Веронова трясло, ноги его топтали склон. Он танцевал на холме, среди языков огня, и вся площадь танцевала жуткий танец. В тёмное московское небо полетели жёлтые трассы, оранжевые, похожие на дыни, огни. Казалось, город обстреливают установки залпового огня. По Москве бьют крылатые ракеты. На улицах рвутся бомбы. У князя Владимира отломилась

голова, из пустого тулова валил дым. И он, безголовый, источая дым, благословлял площадь крестом.

Толпа прорвала цепь и хлынула к воротам Кремля. Оттуда, один за другим, выскользнули бэтээры, длинные, гибкие, как ящерицы. Ударили по толпе пулемёты. На каждом бэтээре трепетал и пульсировал огонь пулемёта. Тупо, упруго стучало. Пулемёты прорубали в толпе коридоры. В этих пустотах копошились, ползли упавшие люди.

Веронов видел, как очередь взрыхлила склон у его ног, будто под землёй прополз крот.

Площадь быстро пустела. Толпа покидала площадь, как вода при отливе, оставляя на отмели недвижные тела, множество шапок, растоптанные знамёна и хоругви. Полицейские в шлемах шли цепью, заслоняясь щитами, выдавливали с площади остатки толпы.

Веронов смотрел на площадь, липкую, голую, отражавшую оранжевые фонари, окружённую пожарами. Вдруг увидел, как на площадь выбежал мальчик, хрупкий, тонконогий, в красном пальтишке и синем колпачке, тот самый, что в Нескучном саду преподнёс ему лист рябины. Мальчик бежал по асфальту, а за ним гналась огромная косматая собака. Догнала, кинулась. Мальчик тоскливо вскрикнул и затих. Только слышался звериный хрип, Собака, изогнув спину, рылась клыками в маленьком тельце.

Веронову показалось, что мир вывернулся наружу жуткой начинкой, совершая “мёртвую петлю”, в которой повторял свою чудовищную неотвратимость. Веронов страшно вскрикнул и рухнул, покатился по скользкой траве.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Он очнулся дома, на своей кровати. Над ним склонилось внимательное, с седоватой бородкой лицо. Человек был в белом халате, держал в руке прибор для измерения давления. За его спиной виднелось встревоженное лицо Анны Васильевны. В спальне горела люстра.

— Что со мной? — пролепетал Веронов.

— Гипертонический криз, — ответил доктор. — Спазм сосудов, мой дорогой. Обычный обморок. Всё будет хорошо.

— Что в городе? Всё сгорело? Они били из пулемётов! Очередь прошла у моих ног. Я поскользнулся и покатился с холма.

— В городе всё спокойно, никакой стрельбы. Разве что салют.

— Вы нашли меня у Пашкова дома? Вынесли из-под огня?

— Мой дорогой, никакого огня, никакого Пашкова дома. Ваша хозяюшка, — доктор повернулся к Анне Васильевне, — увидела, как вы упали у окна, и вызвала “скорую”. Повторяю, всё будет у вас хорошо. Переутомились, мой дорогой, перенервничали. Я выписал вам лекарство. Вам нужно отдохнуть, куда-нибудь уехать, в какую-нибудь тишь, где нет ваших знакомых, нет раздражающих впечатлений.

— Анна Васильевна, что со мной? — спросил Веронов.

— Как вы напугали меня, Аркадий Петрович! Стояли у окна, а потом хлоп — и упали. Вот так, навзничь, — она взмахнула руками, показывая, как падает Веронов. — Я вызвала “скорую”. Как вы напугали меня!

— А вы, мой дорогой, должно быть, филолог? — спросил доктор.

— Нет, не филолог, — слабым голосом ответил Веронов.

— Не переводчик?

— Нет. Почему вы спрашиваете?

— Когда вы были без чувств, вы говорили на каком-то непонятном языке. Я знаю английский, французский, испанский. Немного тюркские, немного фарси. Но это был какой-то другой язык. Вы изучали китайский?

— Нет.

— Суахили, урду? — допытывался доктор.

— Не изучал никогда.

— Быть может, это был какой-то древний язык, из числа умерших? Вы пережили стресс, и в вас проснулась реликтовая память. Я об этом читал.

— Не знаю, — слабо ответил Веронов. А сам подумал, что это говорил поселившийся в нём гость на древнем языке, возникшем при сотворении мира.

Доктор удалился. Анна Васильевна, тихо охая, притворила дверь в спальню, и Веронов остался один.

Он верил доктору и Анне Васильевне, утверждавшим, что с ним случился обморок, и он не покидал дома, и всё, что он пережил, было бредом, кошмарным сном, жуткой иллюзией. Но он помнил свой бред в подробностях, какие отсутствуют после пробуждения. Если он оставался дома и упал у окна, в которое смотрел, слушая бравурную музыку, то из какой реальности явились эти жуткие зрелища?

Он вскочил. Слыша за собой умоляющий крик Анны Васильевны: "Аркадий Петрович, куда вы?" — выбежал из дома в сумерки московского вечера, в холод и мокрый снег. Уселся в "Бентли".

Садовое кольцо липко блестело, автомобили тёрлись друг о друга лакированными боками, как рыбы на нерестилище. Веронов оставил машину на стоянке и вошёл в бизнес-центр. Странно, но пропуск при входе был ему заказан. Он поднялся в бесшумном лифте на этаж, где располагалась фирма "Лемур". Стал искать медную доску с изображением пучеглазого зверька с растопыренными лапами. Не находил. Мимо сновали клерки в белых рубахах и одинаковых чёрных костюмах.

— Простите, — Веронов остановил молодого человека с папкой. — Где находится фирма "Лемур"? Я немного заблудился.

— "Лемур"? — удивился молодой человек. — Здесь нет "Лемура", — и скрылся за прозрачной дверью.

Веронов остановил молодую женщину на высоких каблуках в короткой юбке, похожую на типичную секретаршу:

— Будьте любезны, где здесь корпорация "Лемур"?

Та посмотрела на него лучистыми глазами:

— Здесь нет и не было никакого "Лемура", — и прошла, чуть качая бёдрами.

Веронов несколько раз прошёл по коридору, рассматривая медные таблички с названиями фирм. Там, где прежде висела табличка с глазастым зверем и надписью "Лемур", теперь висела другая табличка с наименованием фирмы: "Видеонана". Веронов подумал, что, быть может, фирма "Лемур" сменила название. За дверью находится белоснежный кабинет, и его хозяин Илья Фернандович Янгес, седовласый банкир с выпуклыми, меняющими цвет глазами любезно встретит его.

Он вошёл в приёмную, копию той, что помнил. Та же стойка из дуба, те же компьютеры, тот же тихий стрекот клавиш, та же милая секретарша, с золотистыми волосами, скреплёнными гребнем.

— Простите, могу я видеть Илью Фернандовича? — обратился к секретарше Веронов.

— Кого, простите?

— Илью Фернандовича Янгеса.

— Но у нас нет никакого Ильи Фернандовича, — ответила секретарша.

— Но как же! Я у вас недавно был. Меня принял Илья Фернандович Янгес. Хозяин фирмы "Лемур"!

— Нет, нет, вы ошиблись. У нас не водятся лемуры, — мило пошутила секретарша и вновь обратилась к компьютеру.

Веронов покинул бизнес-центр. Постоял на Садовой. Улица сверкала машинами. Полыхали белые водянистые фары. Краснели, как рубины, хвостовые огни. Все это было мнимо. Фирма "Лемур" была мнимой. Янгес был мнимым. Недавнее побоище в центре Москвы было мнимым. Вся его жизнь была мнимой. И он сам, Веронов Аркадий Петрович, был мнимым. Его не существовало в пространстве и времени, и сделанное им открытие о собственной мнимости тоже было мнимым.

Он стоял в пустоте, не умея выбраться из этой пустоты на берег, где мог бы хоть за что-нибудь уцепиться. За то, что не было мнимым. Он никогда не рождался и поэтому никогда не умрёт. Он не умрёт, потому что никогда не рождался. Пустота, в которой он находился, подтверждается той

пустотой, что находится в первой, а первая помещается в той, которой является он сам, и все вместе они помещаются в огромную мнимость.

Веронов понимал, что сходит с ума. Хотел опереться мыслью на что-нибудь явное, несомненное, спастись от безумия.

На липкий асфальт Садовой выскочил маленький мальчик в красном пальтишке и синем колпачке. Машины остановились, значит, водители увидели мальчика. И следом за ним сейчас выскочит огромная косматая собака, и эта собака и есть Илья Фернандович Янгес.

Веронова колыхнуло, он с трудом удержался. Добрёл до машины и, боясь столкновений, добрался до дома.

Ночью он спал рваным сном. Пробуждения были похожи на выталкивания из воды, чтобы он мог сделать несколько спасительных глотков, а потом его вновь утягивало в омут, и он мучился от нехватки воздуха.

Ему начинало казаться, что кто-то ходит по дому, стучит коготками, громко нюхает, словно по комнатам бродит большой ёж, подбираясь к спальне.

Вдруг начинал звучать голос, сиплый, монотонный, словно читавший какой-то текст. Чтение шло на неведомом языке, чтец зачитывал из Писания то место, где говорилось о сотворении мира.

Утром Веронов проснулся растерзанным, с едким раздражением против всего, что его окружало. Больше всего его раздражал он сам. Похудевшие руки с отвисшей на локтях кожей. Провалившиеся виски, как у старой лошади. Бегающие, с пугающим золотым отблеском глаза, похожие на ягоды чёрной смородины. Нелепое тело в странных вздутиях и вмятинах.

Запахнувшись в халат, он вышел к столу. Анна Васильевна в своём аккуратном фартучке, в голубой блузке с кружевным воротничком подала ему кофе.

— Аркадий Петрович, уж простите меня. Доктор верно сказал, что вам надо отдохнуть. Лица на вас нет.

— Забудьте про доктора, — раздражённо ответил Веронов.

— Нет, Аркадий Петрович, так вы себя загубите. Вам уже Бог знает что мерещится. Вам бы отдохнуть на природе. Погулять по полям, по рощам. А то на себя не похожи.

— Я знаю, на кого я похож, — Веронов чувствовал, как в нём поднимается бешенство. — Дайте спокойно попить кофе.

— Нет, я всё-таки вам скажу.

Веронову в глаза брызнула яркая, как ртуть, ярость. Он вскочил, схватил за плечо Анну Васильевну, круто развернул, с силой ткнул головой в стол. Рывками, хрипя, задирал ей сзади юбку, сдирал одежды. Она ахала, кричала, пыталась распрямиться. Он с силой бил её в затылок, утыкая лбом в стол. Свирепо, впиваясь в её полные бёдра, видя трясущиеся ягодицы, насиловал её. Оттолкнул, пошёл прочь. Слышал, как Анна Васильевна всхлипывает, тонко, по-собачьи подвывает.

Оделся, мимо забившейся в угол, растерзанной Анны Васильевны выбежал из дома.

Он гнал по Новой Риге, слепо, безумно, не ведая куда. Мимо летела слепящая ртуть. Поля, леса, луговины, окрестные посёлки — всё было покрыто ртутью, едко слепило. Шоссе лилось, как река ртути. Встречные машины налетали, словно комья ртути, плющились, разбрызгивались, и брызги оседали в полях. Эти ртутные брызги летели из его глаз, и весь мир был залит слепящей ртутью.

Наконец, он понял, куда мчит. В Холщёвики, где на деревенском кладбище была похоронена мать. Долгие годы они с матерью жили на даче в Холщёвиках, а когда мать скончалась, он захотел похоронить её там, где вместе с ней прошло его детство, чтобы жить на даче и часто посещать дорогую могилу. Дачу он продал, и могила осталась без присмотра. Он навещал её реже, чем раз в год. Теперь он хотел увидеть могилу, упасть на неё, молить, чтобы мать из другого мира протянула ему свою чудесную руку, окружила немеркнущим светом, исцелила, спасла.

Кладбище было на бугре, под берёзами, среди сухих колючих трав. Теснились оградки, крашенные бронзовой краской. Толпились кресты. На нескольких свежих могилах ярко краснели бумажные венки и чёрные ленты.

Могила матери была засыпана палой листвой, заросла сухой полынью. Из-под травы и листьев едва виднелся розовый камень с простым дубовым крестом. На камне он прочитал родное имя: “Веронова Лариса Семёновна”, и задохнулся от горькой сладости. Он сгрёб руками листья, обнажив холмик. Там, в глубине, лежали лёгкие кости той, что его родила, кормила грудью, носила в сад с цветущим жасмином, читала чудесные сказки, растила, лелеяла, дарила красоту и любовь.

“Мама, что случилось со мной? Мама, спаси меня, милая!”

Сыпал дождь. На соседней могиле дико краснели красные матерчатые цветы. Веронов взывал к могиле. Но ответа не было. Мокрая земля безмолвствовала. Мать не откликалась.

“Мама, это я, твой сын! Мне плохо! Выйди ко мне!”

Могила молчала. Была пустой. Мать ушла из могилы. Не хотела встречаться с сыном.

“Мамочка, прости меня! Я грешник, чудовищный грешник! Я погибаю! Спаси!”

Могила безмолвствовала. Всё кладбище было заставлено железными клетками. Оно было зоопарком. Но мать убежала из своей клетки, сквозь берёзы, в седые поля. Она убегала от него под дождём, не желая с ним встречаться.

Веронов испытал злое удушье, ненависть к железным решёткам, жутким цветам, к матери, которая родила его на муку, на чудовищные злодеяния и теперь не хотела помочь, убегала в поля.

“Ты этого хотела? Ты меня таким родила? Ты этому рада?”

Веронов смеялся, смотрел на жуткий красный цветок и мочился на могилу матери.

Он мчался вслепую, словно хотел укрыться от кого-то, кто настигал его в серых предзимних лесах.

Машина запрыгала на разбитом асфальте, остановилась перед оранжевым самосвалом, преградившим дорогу. Едва не ударив самосвал, Веронов встал, вышел из машины. Впереди громоздились какие-то оранжевые конструкции, что-то урчало, валил дым. Отъезжали два самосвала с кузовами в липких потёках. Несколько рабочих с азиатскими лицами в оранжевых жилетах стояли с лопатами. Из конструкций валил дым. Что-то варилось, чавкало.

Веронов приблизился. Чувствовал, что кто-то его зовёт туда, в перекрестье железных ферм, к закопченным чашам, к шумящему огню.

Он миновал рабочих, которые на него оглянулись и стали рассматривать дорогую, подкатившую к ним машину. Веронов приблизился к урчащему сооружению, увидел лестницу, ведущую наверх. Стал медленно по ней подниматься. Пахло гудроном, варом. В котле что-то булькало. Он видел чёрное блестящее варево, в котором медленно взбухал пузырь, выпучивался и лопался, словно открывался глаз. Веронов смотрел на кипящий вар, и кто-то властный, необоримо желанный звал его в эту тёмную глубину.

Рабочие снизу кричали ему. Он не слышал. Перед ним раскрывалась тёмная бездна, и в ней, желанной, необоримой, сверкал, приближался чёрный бриллиант. Тот, что сулил ему великое освобожденье от мук, вечное блаженство.

Веронов вздохнул и бросился в раскалённое варево, которое поглотило его.

Рабочие в оранжевых робах бежали, карабкались на лестницу. Смотрели в котел, где медленно наливался и лопался очередной блестящий пузырь.

А к вечеру помело, задуло, понесло в поля летучую пургу. Убелило травы, запорошило дороги, накрыло белым все деревни, просёлки, берёзы с вороньими гнёздами. Россия, молчаливая, бесконечная, легла в снега, укрывшие собой все горести, все ожидания, все русские мечтания. Стало бело и чисто. К ночи ударил мороз. Небо открылось, стало звёздно, тихо, бесконечно прекрасно.

В саду умолкли певчие дрозды.
Соцветья звёзд над крышами повисли.
Деревня спит. Две синие звезды
Несёт зима на белом коромысле...